

**Исповедник**

**"На Божьей дорожке". Часть I. Главы  
1 и 2**

# "На Божьей дорожке". Часть I. Главы 1 и 2

Исповедник

- [Главная](#)
- [Список епархий и приходов](#)
- [Контакт](#)

«Не торопись языком твоим,  
и сердце твоё да не спешит произнести слово пред Богом;  
потому что Бог на небе, а ты на земле; поэтому слова твои да будут немноги.  
Ибо, как сновидения бывают при множестве забот, так голос глупого познаётся при множестве слов».

(Книга Екклесиаста, или Проповедника. 5. 1-3) [\*].

"На Божьей дорожке". Часть I. Главы 1 и 2

## Оглавление

- [На Божьей дорожке](#)
  - [«На Божьей дорожке». Часть I. Главы 1 и 2](#)
  - [«На Божьей дорожке». Часть I. Главы 3 и 4](#)
  - [«На Божьей дорожке». Часть I. Главы 5 и 6](#)
  - [«На Божьей дорожке». Часть I. Главы 7 и 8](#)
  - [«На Божьей дорожке». Часть II. Глава I](#)
  - [«На Божьей дорожке». Часть II. Главы 2 и 3](#)
  - [«На Божьей дорожке». Часть II. Главы 4 и 5](#)
  - [«На Божьей дорожке». Часть II. Главы 6 и 7](#)
  - [«На Божьей дорожке». Часть II. Глава 8-я и 1-я глава III части](#)
  - [«На Божьей дорожке». Часть III. Главы 2 и 3](#)
  - [«На Божьей дорожке». Часть III. Главы 4 и 5](#)
  - [«На Божьей дорожке». Часть III. Главы 6, 7 и 8-я](#)

## ПРОЛОГ

«Страх Господень всё превосходит,  
и имеющий его с кем может быть сравнен?».

(Книга премудрости Иисуса, сына Сирахова. 25. 14).

- Побудешь у епископа Виктора послушником. Он тебя пострижёт в мантию и рукоположит в дьякона. Ты уже к этому давно готов. А года через три, Бог даст, рукоположит тебя и во пресвитера, - такими словами начал моё напутствие перед дальней дорогой отец Валерий Рожнов.

Напутствие это случилось в конце сентября 2003 года от рождества Христова. Мы сидели с ним на берегу сильно заиленного деревенского пруда и мельком посматривали за Мишей - младшим сыночком отца Валерия. Миша, то и дело, забрасывал свою удочку в воду, в надежде поймать хоть одну маленькую рыбку. Но, увы, бедная рыбка на крючок всё не цеплялась. Миша бегал с места на место по крутому берегу, проявляя недовольство и по-детски капризная. Мы оба хотели Мише помочь и в тоже время опасались, дабы, не приведи Господь, мальчик не

свалился в воду.

Без взрослого пригляда оставлять его ни на минуту было нельзя.

- Я в тебя верю и знаю, что ты справишься с послушанием, - продолжал своё напутствие мой духовник и старинный приятель [1].

Из Казацкой степи [2] повеяло горькой полынью и по зеркалу пруда пошла мелкая, водная рябь. Солнце стояло в зените, но особого тепла уже не ощущалось. Конец сентября в Черноземье не всегда бывает столь приятным и по-летнему тёплым.

- А что ты знаешь о епископе Викторе? - спросил я отца Валерия.

Отец Валерий умолк. И по привычке охватил мозолистой дланью свою рыжую бороду. Хитро посмотрел на меня и по-отечески улыбнулся.

- Ты знаешь, я не могу тебе полно ответить на этот вопрос, - он опять замолчал, но потом, спохватившись, продолжил. - Все мы не без греха. До Воронежского пастырского совещания [3] я владыку Виктора не знал и представь себе, даже ничего о нём не слышал. В Воронеже он мне показался вполне православным батюшкой. На совещании хорошо и правильно выступил. Вот с тех пор, я его и заприметил. Когда же встал остро вопрос о поставлении епископа на Россию, то ко мне за помощью обратился отец Вениамин Жуков из Парижа. Ты о нём уже слышал, это наш секретарь Синода. Ни одного вопроса по России отец Вениамин не решает, предварительно, не посоветовавшись со мной. Говорю тебе это по большому секрету и как другу на будущее. Я вижу тебя епископом нашей Церкви. Но до этого всем нам ещё предстоит долгий и трудный путь. Так вот, когда ко мне обратился отец Вениамин за советом, я и указал ему на отца Виктора Пивоварова. После коротких уговоров, отец Виктор согласился нести этот тяжёлый архипастырский крест. Остальные подробности ты знаешь не хуже меня. В Париже, три месяца назад, состоялась его хиротония во епископа Славянского, викария всей Европейской епархии [4].

- Я тебя, отче, не об этом спрашиваю.

- А о чём?

- Мне хотелось бы услышать о владыке Викторе, как о человеке, а не историю его поставления во епископы.

- Я же тебе уже сказал, что все мы не без греха. Владыка Виктор обыкновенный и очень простой человек. Закончил МДС, а из академии его выгнали. Был женат. И, кажется, жена его сошла с ума. Больше ничего о нём я не знаю. Правда, мне приходилось слышать от него некоторые высказывания из области мистического богословия и о его, якобы, особом в Церкви предназначении. Вот и всё. И так это или не так, я не знаю. Да и не берусь об этом судить. Высказывания владыки показались мне странными. Ну и что из того? Епископ тоже, ведь, человек. И до тех пор, пока он публично не учит ереси, а в личной беседе высказывает некоторые странные или, скажем, сомнительные вещи, то это вполне допустимо и нормально. Владыка же Виктор говорит так, что мне трудно понять, где границы православия, а где уже ересь. Вот поедешь, познакомишься с ним и на месте сам разберёшься. Он нуждается в твоей помощи и уже, неоднократно, спрашивал меня о тебе. Увидишь своими глазами и если что мне напишешь. Тебе надо срочно освоить компьютер. Зря ты его игнорируешь. Очень удобная штука. По телефону много не наговоришься, да и дорого очень, а через интернет письма проходят быстро и дёшево.

Отец Валерий неожиданно легко поднялся со своего места, отряхнул брюки от налипших сухих травинки и чтобы не слышал Миша, тихонько произнёс.

- Пошли, поймаем Мише рыбку. А то потом не даст мне покоя.

Я согласно поднялся и по узкой, прибрежной дорожке медленно пошёл за своим духовником. Ловить рыбку, признаться, что-то перехотелось. В голове появились новые мысли. И в душе поселилась тревога. Через пару часов мне предстояла дальняя дорога на Кубань, на послушание к епископу Виктору. И владыка Виктор, и отец Валерий моё путешествие благословили. В жизни случалось путешествовать и подальше Кубани. Севера ещё не покинули моё сердце. Но здесь впереди меня ожидало нечто другое, особенное и совсем не мирское.

Впереди меня ожидало монашество...

И неизвестность.

Душа трепетала в тревоге. И мне было не до прудовой рыбки.

Но, слава Богу за всё!

## **ЧАСТЬ ПЕРВАЯ**

### **МИРСКАЯ СУЕТА**

#### **ГЛАВА ПЕРВАЯ**

##### **Родословная. Родное село. Детство.**

«Господи, устне мои отверзеши,

и уста моя возвестят хвалу твою».

(Из 50-го псалма).

Небольшая речка Донецкая Сеймица берёт своё начало в Прохоровском районе, Белгородской области. Она огибает огромный кряж Среднерусской возвышенности и уже в соседней Курской области, впадает в полноводный и широкий Сейм. По всему течению реки и справа, и слева, в низинных и на возвышенных местах, густо разбросаны крестьянские поселения – сёла, деревеньки и хуторки. И названия-то все, какие: Масловка, Раевка, Кривошеевка, Радьковка, Журавка, Григорьевка, Петровка, Сергиевка, Васильевка...

Это всё названия сёл, а названий хуторов и не перечесть.

Люди поселились здесь с незапамятных времён. Земля богатая – чернозёмная. Не ленись только, трудись и она воздаст тебе с торицей. С Божьей помощью, конечно. Без Бога русские люди – ни шагу и никуда. С Ним ложаться. С Ним и встают. И работают.

Так было раньше.

Места наши вольные, хлеборобные. Донецкая Сеймица, несмотря на свою узость и кажущуюся неказистость, всегда славилась своими жирными карпами, щукой, плотвой, линью, налимами, пескарями, раками и устрицами. Если смотреть с высокого кряжа, далеко видно наши красоты. Поля, лесополосы, хутора и деревеньки. В хуторе Новосёловка [5], я и родился на свет. Случилось это 11 января 1956 года в Радьковской участковой больнице, а некогда, при царе, значит – больнице Земской.

Отец мой – Балабанов Михаил Афанасьевич работал тогда главным агрономом колхоза. А мать – Балабанова (в девичестве Шаповалова) Екатерина Кирилловна работала (в том же колхозе) в полеводческом звене свекловичницей. Проживала вместе с нами в хате и бабушка по отцу – Балабанова Анастасия Гавриловна. Бабушка тоже работала в колхозе, в так называемом звене престарелых свекловичниц. На её плечи, в основном и легло моё воспитание, а точнее, пригляд.

Детская память цепкая. Она, как магнитом притягивает явления интересные и запоминающиеся. Со временем многое уже повыветрилось с головы. Однако первое и вполне осознанное, что запомнилось на всю жизнь, я помню. И помню, как ни странно, не отцовское или материнское прикосновение. А прикосновение, как бы и постороннее. Хотя и не совсем. Помню тёплые руки своей прабабушки.

Мне потом рассказывали, что она долгое время была в монастыре простой монашкой. Монастырь тот советская власть разгромила, а всех монашек выгнала на улицу. Моей прабабушке деваться было некуда и в конце тридцатых годов, она вернулась на родину в родное село. Что меня особенно поразило в том рассказе, что она не оставила молитву к Богу. Несмотря на гонения, молилась по ночам одна. Долгое время молилась. Потом к ней стали приходиться верующие в Бога люди. Молились сообща. Представьте себе. После тяжёлого трудового дня в колхозе. После всех домашних работ. А их в крестьянской семье предостаточно. Усталые люди приходили в развалюху-хату к прабабушке-монашке и вместе с ней становились на молитву. А вокруг советская лютость, безбожие, богоборие, НКВД...

И жуткий, едва ли ни животный страх пред сильными мира сего.

Поразило меня ещё и то, что никто из односельчан так и не донёс в карающие органы. Никто не стал брать на душу грех доносительства на богомольцев. Слава Богу! Господь оградил земляков от такого тяжкого греха. После войны прабабушка ослепла. И когда я родился на свет, она уже ничего не видела. Ей хотелось потрогать дитя. Вот её прикосновение рук – первое, что я и запомнил.

Звали ту мою прабабушку Наталией. И Бог вещь, теперь вот сам себя часто спрашиваю, а не святой ли она человек?

Фамилия – Балабанов – на Руси не такая и редкая. А в наших местах так и вообще, распространённая. Рядом хутор Балабановка, где в мою бытность жили почти все Балабановы [6]. Много таких фамилий в районе и области. Род Балабанов – наидревнейший. Корни его уходят глубоко в старину, в Галицко-Волынское княжество. Мой древний предок носил тогда фамилию Балабан и был одним из самых ближних бояр князя Даниила Галицкого.

Немало из рода Балабанов вышло и церковных людей: архимандритов, епископов и даже случился один митрополит. Митрополит Киевский и Галицкий Дионисий (Балабан), как раз и будет из нашего рода [7]. Об этом я узнал значительно позже. Говорила мне о том моя бабушка, да я всё ей не верил. Думал, какие там митрополиты, если все в роду сплошь крестьяне. И только потом, когда вплотную столкнулся с церковной историей, выяснилось, что бабушка говорила мне правду.

Уния с католиками положила начало миграции рода. Не стали мои предки мириться с ней и постепенно многие из них перебрались в Московское царство. С той поры и живут на православных землях Святой Руси. Вернее сказать жили...

Советская власть всё переврала, перекорёжила и перемолола. Не избежал всего этого и мой род. О древности рода я уже упомянул. При православных же царях и императорах, в 18-19 веках, мои предки служили не только царскими стольниками, но и купцами первой гильдии, священниками. Одного из протоиереев советы повесили в Полтаве. Других позднее раскулачили, разбросали по тюрьмам и концентрационным лагерям и, так или иначе, сжили со свету.

Дедушка – Афанасий Семёнович Балабанов – долгое время регентовал в церкви Свято-Троицкого прихода, что в соседнем селе Журавка. К Свято-Троицкому приходу мы и были приписаны. В тридцатых годах храм в Журавке активисты сломали и растащили по своим домам. Как напоминание, остался от храма один фундамент. Его ни ломы, ни кувалды не взяли. Как ни старались долбить, ничего у богоборцев не получилось. Я помню тот церковный фундамент. Обучаясь в Журавской восьмилетней школе, мы всем классом ходили на него смотреть. Ходили не сами по себе, а вместе с учителем. Как на экскурсию. Увиденное зрелище оставило тревожный осадок в душе. Стоит ли он, и до сей поры или же нет – того я не ведаю.

Скорее всего, там ничего не осталось. Как ничего не осталось от многих удалённых деревень и хуторов. Не осталось даже следа.

Дедушка Афанасий погиб на войне в 1943 году [8]. Не избежал войны и мой отец. Семнадцатилетним пареньком его забрали на фронт [9]. И в 1944 году, под украинским городом Корсунь-Шевченковским, он получил тяжелейшее ранение. Разорвавшимся снарядом от немецкой самоходки отцу оторвало правую руку. Осколок навывлет пробил грудь.

И что удивительно, осколком и так же навывлет, ему пробило шею. Как кусок железа мог пробить шею, не зацепив жизненно важных жил? Для меня это так и осталось загадкой. От советско-германской войны у отца осталось не только тяжелейшее ранение, но и полное молчание о ней. О войне он даже нам, своим детям, почти никогда и ничего не рассказывал. Другие участники войны рассказывали о ней охотно и много. А он нет. А вот по ночам отец страшно и дико кричал. Мы все тогда в страхе просыпались и потом долго не могли заснуть. Снилось ли ему, что? Или же мерещилось, как наяву?

О том мы его никогда не спрашивали.

Возвратившись, домой из госпиталя и, имея за плечами десять классов средней школы, что по тому времени считалось приличным образованием, он начал работать в колхозе сначала счетоводом, а по окончании агрономического техникума, главным агрономом. В компартию отец вступил не на фронте, а сразу после смерти Сталина.

Без руки крестьянствовать в домашнем хозяйстве очень сложно. Кто жил на селе, тот это поймёт. Поэтому, несмотря на отцовскую должность и вроде бы, гарантированные трудовни, жили мы не богаче соседей. А я так полагаю, что жили мы гораздо беднее. Моей матери, то и дело, приходилось просить помощи у обоеруких родственников и односельчан.

При моём рождении, о крещении в патриархийном храме не могло быть и речи. Красный поп тут же доложил бы, куда следует и отца бы сразу уволили с работы. И что тогда потом делать? Ходить по хуторам и просить у таких же бедных людей милостыни? Мать же, будучи человеком богобоязненным, не могла меня не крестить. Да и отец всё прекрасно понимал. Поэтому и решили окрестить меня тайно у катакомбного священника. В семи километрах от нашего хутора жил один такой древний старец [10], который, случилось, крестил таких же, как я. В округе не один мой отец боялся наказания за крещение своего дитяти.

Зимней ночью старец меня тайно крестил.

Таким вот образом, Господь избавил меня от приобщения к советской лжецеркви. Об этом пишу без всякого пустого бахвальства, ибо никакой заслуги в том моей нет.

Родословная по материнской линии выглядит значительно проще. Многочисленный род Шаповаловых, испокон веку, занимался земледелием. И во все времена (от самого первого поселенца) безвыездно жил тихо и мирно в старинном селе Радьковка [11].

Мой дедушка - Шаповалов Кирилл Козьмич - слыл по селу человеком добрейшим и в помощи безотказным, за что ему часто и доставалось от моей бабушки Христины. Если добираться до них по луку, то надо отмахать километров пять. А если идти по просёлочной дороге, то и в семь не вберёшься. Как только я подрос и стал на ноги, меня можно было часто видеть у них в гостях.

Дедушка Кирилл научил меня косить и молотить цепом зерно. Он же привил мне и любовь к домашним животным. Ещё дедушка всегда разговаривал со мной, как со взрослым (что мне очень нравилось) и я до сих пор помню те его взрослые разговоры.

Он тоже воевал и от войны (после ранения) у него осталась заметная хромота. К хромоте он привык. И она ему особенно не мешала. С дедушкой мы сильно сдружились. Мне было с ним так интересно, что почти каждое лето я проживал вне родимого дома.

Один из его рассказов о революции мне запомнился наизусть. Тогда, будучи ещё подростком, он вместе со своими сверстниками бегал в соседнее село Васильевку смотреть на осатаневших мужиков, грабящих барское добро [12]. В то время ему уже исполнилось тринадцать лет и «Васильевскую революцию» он запомнил на всю жизнь. Когда дедушка о ней рассказывал [13], я сидел, где-нибудь, рядом поблизости и со страхом внимал каждому его слову, стараясь всё запомнить и не дай Бог, ничего не пропустить.

Быстро сменяя друг друга, в моей детской головке рисовались красочные и страшные картины разбоя. Будто не виртуально, а наяву, видел я то революционное сумасшествие. Видел разъярённых, и что-то кричащих мужиков. Видел мечущихся в загоне перепуганных барских лошадей. Слышал споры, матерную ругань, звон разбивающихся окон, посуды. И не только видел и слышал. О, если бы только это одно! Я не только видел и слышал, но и всей своей детской душой переживал и остро ощущал боль от глубины человеческого падения. Эта глубина, как ножевая рана жгла и кровоточила в моём сердце.

В конце дедушкиного рассказа присутствовал эпизод с насмерть перепуганными барскими детками. Когда он доходил до этого места с детками, я замирал, и на моих глазах тут же выступали слёзы. Мне было так жалко деток, что удержать слёзы я не мог. Они переполняли глаза и лились сами собой. Украдкой от дедушки, я их пробовал вытирать. Но слёз скапливалось столько, что вытирать их голой рукой я не успевал. А они, как назло, всё лились и лились [14]. Рассказ обычно заканчивался вопросом о судьбе барских деток. К моему

великому сожалению, он не знал, что с ними стало потом.

В отличие от отца, рассказывал дедушка и про войну. Про пехоту. Про ранения. Про немцев. Рассказывал о том, как он лежал в госпитале в далёком северном городке Онега. На фронте дедушку ранило дважды. При первом ранении пуля пробил навывлет грудь. На удивление, пулевое ранение быстро зажило и в госпитале, он тогда пролежал недолго. А вот второе ранение оказалось значительно тяжелей. Минный осколок вырвал заднюю поверхность бедра. И с этой раной дедушке пришлось изрядно помаяться по фронтовым госпиталям, на многое насмотреться и многое пережить. Почти до самого конца войны он находился в госпитале на излечении. Военные врачи сделали всё, что смогли.

Однако хромоты избежать не удалось.

Она так и осталась до конца его земной жизни [15].

В Радьковке храм богоборцы не тронули. Но служить в нём запретили даже сергианам. Так он и стоял до самой войны без людей. Когда же пришли немцы, то храм они сразу открыли и уже после, службы в нём никогда не прекращались. Мои родные (дедушка и бабушки), хотя и были людьми богобоязненными, в храм этот молиться Богу не ходили. Не верили они красным попам. В хатах, на святых углах стояли иконы и висели лампадки. Молились перед ними по утрам и вечерам. И ещё молились перед принятием пищи.

Что тут сказать?

Правильно молились.

Жили мои земляки бедно и боязливо. Как каторжные, с утра и до вечера, работали на земле. В нужде и с горем пополам растили детей. И боялись не столько Бога, сколько проклятой советской власти. По своей немощи и постепенному отходу от православной веры, люди считали, что до Бога далеко и если, что, то Бог, глядишь, простит и помилует, а власть, вот она, рядом. Ходит за тобой проклятущая тенью. Она такая, что не простит, не помилует. И главное, никогда не знаешь, что она злющая выкинет. Ничего хорошего от неё не жди. Да никогда и не ждали. А вот сломать хребет человеку, унижить, а то и лишить его бедного жизни, это она может. Это она запросто. Множественные примеры у всех на глазах ещё не померкли и так запечатлелись в памяти, что ни с глаз не стереть, ни из памяти сразу не выкинуть [16].

Много раз мне доводилось слышать от деревенских мудрецов и старожилы рассказы о прежней, царской власти. Они её не хвалили. Нет, не хвалили. Но и не ругали. Просто, как длинную повесть, рассказывали о прежней жизни, а сравнивать и домысливать мне уже приходилось самому. И сравнения эти получались далеко не всегда в пользу советской власти [17].

Во времена Российской Империи, при царе-батюшке, Радьковская слобода (позднее волость) входила в состав Корочанского уезда, Курской губернии. Населяли её исключительно русские люди казацкого и вольного крестьянского сословия.

Заселяться же по руслу Донецкой Сеймицы православные люди начали давно. Точную дату, кроме Господа, теперь уже никто и не помнит. Но, как утверждают современные историки и местные краеведы, землепроходцы-поселенцы в наших краях появились не позднее семнадцатого, а то и шестнадцатого века.

До тихого Дона от Донецкой Сеймицы рукой подать.

Поэтому первые Радьковские хутора и поставили не абы кто, а самые, что ни есть, настоящие донские казаки. Этот неопровержимый факт подтверждается не только исторической наукой и народной молвой, но и припиской всего военнообязанного населения Радьковской слободы (а позднее волости) к Всевеликому Войску Донскому.

За столетия хутора разрослись и протянулись по руслу Донецкой Сеймицы на добрый десяток вёрст. Вольные чернозёмные земли обживались быстро. Однако казачество казачеством, а крестьянство крестьянством, но и Бога добрые люди не забывали. Деревянный храм Вознесения Господня казаки поставили почти сразу же. И простоял он в аккурат аж до 1808 года.

А в 1808 году, вместо деревянного храма (на средства казаков уже трёх Радьковских

хуторов), построили большой каменный храм [18].

Люди из моих родных мест по социальной и духовной иерархии высоко вверх не поднимались. Жили всё больше, хотя и со Господом нашим Иисусом Христом, но приземлённо. Однако же и не без приятных исключений. На одном из Радьковских хуторов 20 декабря 1813 года родился будущий царский епископ Саратовский и Царицынский Евфимий (Беликов) [19]. На епископе Евфимии (Беликове), слава Богу, начинаются и заканчиваются все Радьковские знаменитости.

Как люди жили в Радьковке при царе-то батюшке - посудите сами. До 1917 года в нашей волости насчитывалось более тридцати ветряных и водяных мельниц [20]. Работало несколько маслобойных и валенко-валяльных цехов. Не говоря уже о том, что каждый квадратный метр плодороднейшей и лучшей в мире чернозёмной земли не пустовал и не зарастал понапрасну бурьяном (как это сплошь и рядом теперь), а строго использовался по-своему агрономическому назначению. Проходили у нас и ежегодные, осенние ярмарки. На этих ярмарках православные люди продавали излишки от трудов своих праведных.

Плотность населения достигала такой величины, что взрослым (и находящимся уже в церковном браке) детям не хватало места для самостоятельного поселения. Потому часто совместно и проживали огромными семьями, доходящими порой до сорока едоков и более.

Своих детей царские казаки и крестьяне учили не только сами по одной лишь Псалтири. Помимо обычной церковно-приходской школы, в Радьковке имелась ещё и земская школа [21], и второклассная школа Синода для подготовки учителей церковно-приходских школ [22]. А лечились мои земляки в Радьковской земской участковой больнице [23].

Революция и советская власть ограбила, укоротила, духовно оскопила и физически уничтожила всё крепкое, православно-монархическое и веками нажитое. Уничтожила под самый корень носителей русского православного духа, не говоря уже о полном уничтожении казаческого и крестьянского сословия, как таковых. Сотни и тысячи моих земляков (как сотни и тысячи крестьян из Масловки, Раевки, Кривошеевки, Журавки, Григорьевки, Петровки, Сергиевки, Васильевки [24]...) погибли в тюремных застенках, сталинских контрационных лагерях. Были раскулачены и выселены на окраины Совдепии. Умерли от голодной смерти в начале тридцатых и конце сороковых годов. Погибли в степях Монголии и Китая, в Карело-Финских болотах и лесах, на полях бывшей Российской Империи, в городах и полях Восточной Европы...

Господи! За что же нам такое Твоё наказание?

По грехам нашим. За отступление от Бога и Царя. За маловерие, неверие и богоборие. За всё то же самое, что и при праведном Лоте и при не менее праведном Ное.

И что тут ещё сказать?

Сказать больше нечего.

Хрущёв Курскую область укоротил. И в 1954 году на административно-политической карте СССР появилась Белгородская область. Уже в ней я и народился на свет Божий в январе 1956 года.

Представьте себе такую картину.

Крытую потемневшей от времени соломой небольшую хатёнку, где на крыше виднеется плетёный из лозы и обмазанный глиной дымоход. У хатёнки маленькие оконца, что почти у самой земли, подслеповато смотрят на улицу. Через узкую просёлочную дорогу стоит будка погребя. За хатой - сад и огород. За огородом - речка. По обе стороны от русла речки лежит широкий заливной луг. Если на дворе лето, то на нём пасутся коровьи и гусиные стада. А в речной воде вместе с утками купаются дети колхозников [25]. Если же на дворе зима, то весь луг и речка спят под чистым белоснежным покрывалом. По снегу веет позёмка и в воздухе трещит крепкий русский мороз. За лугом и в любое время года, вы легко и сразу же узрете высоченный кряж Среднерусской возвышенности. Кряж протянулся на многие километры. Их никто не считал. Но, кто не поленился и вдруг посчитает, то километров с тридцать, почитай, легко наберёт. На кряжу виднеется дорога. Если по ней идти пешком или же на чём-либо



ехать, то через семь километров она приведёт в село Вязовое, потом в Чуево и дальше выведет прямо на Скородное, что не так уже далеко от городов Губкин и Старый Оскол. Кому-то эти названия уже приходилось слышать. (Впрочем, Америку я не открываю [26]).

На кряжу – поля. За нашим погребом, и дальше, за молочно-товарной фермой, тоже – поля. Хуторок наш маленький. По обе стороны от дороги стоят точно такие же неказистые, крытые соломой хатёнки. Всего их семнадцать. Хуторок протянулся на две сотни шагов. На одном его конце, через дорогу, что ведёт на кряж и ближе к Радьковке, находится хутор Мироновка [27]. А на другом конце, через лужок, лежит в непролазной грязи (если летом) хуторок Виноходовка и немного дальше (и уже на сухом, и открытом месте) стоит хутор большой – Балабановка. За ним следует Нижняя Гусынка, Закуток... (и так до самой Журавки). Через все эти хутора проходит дорога в село Журавка [28].

Самые мои ранние детские воспоминания связаны с нашей хатой. Хата у нас старая, неоднократно переложённая из вербных брёвен. Жилая комнатёнка одна и она такая маленькая, что маленькой кажется даже мне. Большую её часть занимает русская печь. От печи и до стены висит ситцевая занавесочка. Вместе с печью она разделяет комнату на две половины. На одной половине спим мы с бабушкой и младшим братом. На другой половине спят отец с матерью. На родительской стороне, находится Святой угол с иконами и лампадкой. Чуть дальше стоит их кровать. Рядом с кроватью, прямо у Святого угла, висит самодельный столик и около столика, грубой плотницкой работы, стоят две скамейки. Под потолком ещё висит керосиновая лампа с плоским железным абажуром.

Вот и вся обстановка.

Там, где спим мы, она ещё проще. Кроме бабушкиной деревянной кровати и подвешенной под потолком люльки [29] с младшим братом, на нашей половине больше ничего и нет.

Сенцы мне кажутся большими. Они сплетены из лозы и снаружи, как и дымоход, обмазаны глиной. В сенцах живут корова, поросёнок и куры вместе со своим петухом. В них же находится саманный закром с зерном и если на дворе зима или поздняя осень, то в сенцах стоит ещё и копна сена. Рядом с входной дверью приставлена лестница на потолок. Мне очень хочется по ней залезть и посмотреть, что же там лежит на потолке. Но я ещё очень маленький и лестничные пролёты для меня непреодолимо широки.

Пол в хате земляной и кроме летнего времени, он всегда холодный. Вымазан пол коровяком, поэтому в любое время суток в хате слышен запах коровьего навоза. Зимой, при отёле коровы, в комнату заносят новорожденного телёнка и привязывают его к печи. В сенях очень холодно и телёнок в них может замёрзнуть. К телёнку прибавляют и маленького поросёнка. Поросёнка поселяют под печкой. Когда в хате никого из старших нет, я смело подхожу к телёнку и глажу его по мокрой мордочке. Телёнок любит мои ласки и почти сразу же начинает лизать руку язычком. Язычок у него большой и шершавый. Мне очень щекотно, но ради нашей дружбы я стойко терплю щекотку. Завязывается у нас дружба и с поросёнком. Вначале он меня опасается, но потом быстро привыкает. Я залажу к нему под печь, где мы с ним долго и увлечённо играем. А, вволю наигравшись, часто потом засыпаем в обнимку. И телёнка, и поросёнка, украдкой от взрослых, я подкармливаю тёплым коровьим молочком. Наша дружба продолжается несколько недель. До тех пор, пока на дворе потеплеет. С приходом относительного тепла, телёнка и поросёнка переводят на жильё в сенцы.

В нашей хате тепло только летом и когда бабушка печёт в печи хлеб. В остальное время холодно. Хлеб бабушка печёт на закваске. С вечера просеивает на сите муку. Добавляет в неё молочный обрат и замешивает всё это в большой деревянной бадье. Бадью потом ставит на печку. Ночью бабушка подбивает подошедшее тесто. Часа в четыре утра начинает топить печь. Когда дрова в печи прогорят, ставит формы с тестом на угли и закрывает печку железной заслонкой.

Через час хлебушко и готов.

Я всегда просыпаюсь от печного тепла. Немного нежусь в постели и только после встаю. Слышу, как мать в сенцах доит корову. А, подоив, заходит в хату и с улыбкой наливает мне

полную кружку парного молока. Молоко я сразу не пью. А с нетерпением жду, когда бабушка вынет из печи горячий хлеб. Горячий хлеб с парным молоком – любимое моё кушанье.

Только что вынутый хлеб из печи ножом не режется. Бабушка отламывает от огромной круглой буханки горячую краюху и ложит её передо мной на стол. Я осторожно дую на неё губами и потихоньку отщипываю пальчиками мякиш. Вслед за мякишем скоро идёт и парное молоко. Кружка с молоком быстро пустеет. Исчезает со стола и краюха хлеба. После столь ранней трапезы, я залажу обратно в постель и вскоре опять засыпаю. Такие дни для меня всегда большой праздник. В хате целый день тепло и ещё долго пахнет свежим хлебом. Хлебный запах распространяется и по всему хутору.

Когда выйдешь на мороз из хаты, его далеко слышно [30].

Хлеба семье хватает, как раз на неделю.

Одно плохо - с топкой у нас на хуторе прямо беда. Топят прессованным коровяком и реже соломой. Дров очень мало и их берегут для выпечки хлеба. А об угле никто и не думает. Какой там уголь?! Уголь появился позднее, когда колхозникам разрешили возить свою картошку на продажу в Донбасс. Туда картошку, а оттуда уголь. Раньше, при Сталине, на лугу копали торф, и люди зимой отапливались торфом. Но потом, при Хрущёве, копать торф почему-то запретили. Топи, чем хочешь. А, чем? Бабушка Анастасия целыми днями по холоду собирает бурьян и всё, что горит. Но таких бабушек, как она, по родимому околотку много, а горючего материала мало. Оттого в хате всегда и холодно. Как ещё мы с братом не простываем?

С коровой тоже проблема. Точнее, не с коровой, а с кормом. Кормить бурёнушку нечем. К началу весенних месяцев солома и сено кончаются, и ей приходится поедать даже сухую картофельную ботву. Выручает отец. Когда он на лошади приезжает домой обедать, то корове перепадает солома или реже сено из саней. Но отец приезжает обедать далеко не всегда. Колхозные дела намного важнее домашних. Он теперь у нас не только главный агроном, но ещё и заместитель председателя колхоза. За эти важные должности, мы все отца немножко побаиваемся, хотя по-прежнему любим и очень уважаем. Мы все гордимся отцом. И соседи нас за него тоже сильно уважают и почитают. Они у нас частые гости. И я это чувствую по заискиванию, и сюсюканью со мной в разговорах. Я быстро расту и уже многое понимаю.

Часто вместе с отцом к нам приезжают обедать какие-то важные дяди [31]. Они выше отца по должности. Говорят - уполномоченные из района. Мать готовит им что-нибудь вкусненькое. Я сижу на бабушкиной кровати за ситцевой занавеской, прислушиваюсь к разговору за столом и надеюсь, что от жующих и пьющих людей, глядишь и мне, что-нибудь вкусненькое, да и перепадёт [32].

Разговор за столом обычно всегда начинается, после первого выпитого стакана самогона и почему-то, с непонятного мне упрёка.

- Что ж это, Михаил Афанасьевич, - начинал нудно тянуть районный уполномоченный. - Ты человек заслуженный. На фронте кровь свою проливал, коммунист. Советская власть тебе должность такую доверила. И у тебя в хате, да ещё и прямо перед столом, горит лампадка и блестят иконы. Непорядок, Михаил Афанасьевич. Непорядок.

В таких случаях, отец виновато выдерживал длинную паузу, после которой кротко отвечал.

- А, что я сделаю. Мать у меня человек неграмотный, верующий. Хатка эта её. Не воевать же мне из-за икон с родной матерью?

Уполномоченный не спешил становиться на отцовскую сторону. Только после второго, а то и третьего стакана самогона мужская солидарность побеждала.

И он соглашался с отцовскими доводами [33].

Сказать по правде, голода я не захватил. Мать меня очень долго кормила грудью. И питался я материнским молоком до полутора лет, если не больше. Потом же жизнь пошла, хотя и не слишком хлебосольная, но жаловаться на неё грех. Хлеба на столе вволю. Есть коровье молоко и кислый борщ из квашеной капусты. Летом борщ со щавелем или лебедой и реже окрошка. Сала и мяса на столе мы долго не видели. Если какую скотинку и резали, то отвозили почти всё на базар. Копили деньжата на постройку нового дома. В старой хате жить

стало сложно. Венцы нижние сгнили и соломенная крыша, в нескольких местах, протекала.

На трудодни же новый дом не построишь.

На Божий свет наши дети появляются с родительскими (прародительскими) схожестями (схожестями физическими, характером, темпераментом) и с Божьими талантами. У кого-то они одни, у кого-то другие. У кого-то их больше, а у кого-то меньше.

Не в том суть.

Образ Божий и Его подобие, запечатлен в нас Духом Святым. А душа наша, как духовное и светлейшее Божье семя – и есть, то самое наидрагоценнейшее, которое и надо спасти для Царствия Небесного. И не только спасти, а и приумножить. С Божьим и человеческим наследием так мы и идём по жизни земной. Идём и похожие, и не похожие друг на друга. Люди вокруг нас все такие разные и все такие интересные. И, слава Богу за всё! Если бы мы были одинаковыми, в жизни бы нас ожидала великая депрессия и скуотища.

Как только я немного подрос и уверенней стал на ноги, приглядывать за мной почти прекратили [34]. Штанов мне, правда, не выдали. До штанов я ещё не дорос. Да и шут с ними, со штанами. Я знал, что штаны от меня всё равно не убегут. И что рано или поздно придёт время, когда вместо длинной и домотканой рубахи я одену штаны. Родители и бабушка, мне выдали гораздо большее, чем можно было от них ожидать.

Они мне подарили свободу.

Почувствовав себя вольным и свободным человеком, я, как тот желторотый птенец, с удовольствием покинул отчий дом и целыми днями пропадал на улице, из конца в конец, слоняясь без дела по хутору и порой, забывая о времени, и хлебе насущном. Неуёмная энергия из меня била ключом. Тяга к жизни, а пуще того, тяга к познаниям переполнили все мои чувства и заполонили сознание. Мир для меня открывался интереснейший. И он меня так захватил, что от его познания я не только охмелел, но и совершенно в нём потерялся и вскоре запутался. Поводырей рядом и близко не стояло, поэтому мои первые познавательные шаги оказались не в том направлении [35]. Наихудшее и наигреховное, кажется всегда привлекательней и интересней. Вот его я, первым делом и познал. Познавал. И, слава Богу, что не только его!

На лужку, что у нашего погреба поразил меня мир насекомых. А у заболоченного и высыхающего рядом с лужком озера захватил мир головастиков, стрекоз и лягушек. Я часами мог смотреть на спящих под ногами серьёзных и таких деловитых муравьёв. На бабочек, пчёл и шмелей. Особенно мне нравились муравьи и шмели. Если муравьи привлекали внимание своей массовостью и паразитической организованностью, то шмелей я любил за мощное гудение и ещё за загадочные дырки у погреба, куда они, то и дело, залетали и потом вылетали. Ни муравьёв, ни шмелей я совсем не боялся. И мне хотелось подружиться с ними точно так же, как я зимой подружился с телёнком и поросёнком.

Лягушки же и головастики вызывали у меня ещё больший интерес, чем насекомые. Особенно после тёплого летнего дождика, когда их в озере собиралось столько, что ни глаз, ни ушей не оторвать. Я осторожно подходил к разлившемуся после дождичка озерку и с восторгом замирал от увиденной подводной картины. В чистой воде мне открывалось удивительное земноводное царство. Что вы! Просто так стоять и без всякого участия наблюдать с бережка за подводным миром я не мог. Мне этого было недостаточно.

Любопытная страсть легко побеждала дозволенную умеренность. Без страха [36] и оглядки назад, я входил в тёплую воду. Опускал руки до дна. Нашупывал и тут же вылавливал жирных головастиков, а иногда и зелёных, и не менее жирных лягушек. Головастиков я отпускал в воду [37]. А лягушек нет. С лягушками дело обстояло гораздо серьёзнее. С ними я вылазил на берег. И крепко держа в обеих руках, ходил с ними после по хутору, пока кто-нибудь из хуторян или случайных прохожих, мой улов не отнимал и не отпускал его на волю. Такая незаконная, а главное обидная экспроприация доводила меня до горьких слёз. И если взрослый человек не отводил меня сразу домой, то я тут же бежал к озерку за новыми лягушками.

Не знаю, может быть, лягушкам нравились мои руки или здесь присутствовало что-то

другое (и совсем не мистическое), но сами они никогда не старались выпрыгнуть и освободиться. Называл я лягушек «тютями» и из-за них со мной боялись водиться и дружить мои старшие двоюродные сёстры. Они почему-то очень боялись лягушек и всегда с визгом убегали от меня, увидев в руках земноводных. За такое дружеское отношение к лягушкам мне часто доставалось от родных и от бабушки [38].

В моих глазах и сознании мир постепенно расширялся и познавался.

Лестница у дверей в сенцах стояла всё там же. Она соблазняла и тянула на потолок. Мир, миром и улица, улицей, а без исследования хатного потолка, какой же из меня следопыт и познаватель? Я долго всё примерялся к лестничным пролётам. Подходил к ним и так и этак. И вот, наконец-то, решился рискнуть. О последствиях я не думал. Мне казалось, что загадочный и притягательный мир потолка стоит того, чтобы ни о чём больше не думать. Высота, всё-таки...

И вот, однажды, погожим летним утром, когда все домашние давно ушли на работу. Отец с матерью в колхоз, а бабушка на огород. Я и полез на мечту моих желаний - на потолок. Первые два проёма оказались уже остальных. И преодолел я их на одном дыхании. Дальше лестничные проёмы пошли значительно шире, и подъём вверх несколько замедлился. Однако на меня уже снизошёл азарт верхолаза, поэтому отступить назад я не собирался. После долгих усилий остались позади и эти пролёты.

И вот он долгожданный потолок!

Кроме пыли и непривычной темноты, здесь царило паутинное царство вперемешку с тёрпким запахом прошлогоднего сена. Я отполз от опасного края и зажмурил глаза. А когда их открыл, то темнота показалась мне не такой уж и тёмной. Немного посидев и почти отдышавшись, я принялся за исследование. И чего я здесь только не нашёл! Первым мне попался под руку ткацкий станок. Что это ткацкий станок, а не что-то другое, я понял сразу же. У соседей видел точно такой. И даже видел, как на нём ткали цветную дорожку. Потом я наткнулся на старую прялку. Прялка поломана, потому она и лежала на потолке [39]. Дальше я нашёл красивый деревянный гребешок для расчёсывания овечьей шерсти [40]. И этот гребешок мне тоже известен. С его помощью получалась мягкая и пушистая шерсть. Шерсть ту сучили на прялке, после чего образовывались нитки. Нитки сматывали в клубки, из которых бабушка и мама плели потом варежки и носки.

Самое же важное, что я нашёл на потолке (нашёл в самом дальнем углу), это толстую и тяжёлую книгу с тиснёным крестом на обложке. Открывать её я не стал. Всё равно ничего бы не увидел. Я и крест тот нащупал всё больше руками. Протерев книгу подолом рубахи и как самую драгоценную находку, прижав её к своему тощему животу, я отполз с нею на старую овчинную кожу, угрелся на ней и крепко же сразу заснул. Тяжёлый подъём, удивительные открытия и переживания сморили меня надолго.

Я спал с книгой на потолке и, конечно же, не слышал, как приехал с работы отец. И пришла мать на обед. Как с огорода вернулась бабушка. Они кинулись меня искать. Стали звать и громко выкрикивать моё имя на улице. А я всё не откликаюсь, и меня всё нет и нет. Родные от страха так переполошились, что на ноги подняли весь хутор. Стали смотреть по колодцам. Не свалился ли я туда. И ещё долго бы, наверное, искали, если бы не мой родной дядюшка Алексей [41].

Он-то и нашёл меня на потолке.

И полусонного, с толстенной книгой в обнимку, снял и опустил на грешную землю. Книгу я, по дядюшкиному совету, тут же припрятал в закрое с зерном. Она потом мне с лихвой компенсировала и отцовскую порку, и материнские слёзы, и бабушкины причитания, и упрёки. Всё это я, хотя и с обильными слезами, но вытерпел. Вытерпел, в ожидании открытия книги с таким красивым и притягательным крестом на обложке. Дядюшка Алексей, когда ставил меня на землю, по секрету шепнул на ушко, что книга эта дедушки Афанасия и что она не простая, а свято - церковная [42].

Значит, запретная.

Вот это здорово! Дедушкина! Да ещё и запретная! Всё запретное, это по мне. Запретное всегда интереснее. Это-то я уже вполне осознал.

Потому и к частым поркам уже малость привык.

На другой же день я залез в закром. Нашёл в зерне припрятанную заветную книгу. И с вожделением первооткрывателя потянул вверх за обложку. Обложка легко поддалась, открывая моему страстному взору первые страницы. Раньше мне уже приходилось листать не запретные книги. Но куда им до запретной и свято-церковной! Тут и бумага другая, и буквы совсем не такие [43]. Да и запах чуеться не тот. Этот намного приятней и слаще. Листы пахнут мёдом и воском.

Осторожно переворачивая одну страницу за другой, я дошёл до первой картинки. И от невиданного доселе великолепия, сразу же обомлел. На цветной картинке, в голубом небе парили белые кучевые облака, на которых сидели и стояли красивые люди с крыльями. В увиденном чуде меня поразили три вещи. То, что красивые люди с крыльями стоят и сидят на облаках, и почему-то не падают на землю. Поразили их крылья. Я ещё повернул голову за плечо и посмотрел, а не растут ли и у меня точно такие же крылья. Глазами я ничего подобного не увидел. Однако же, для пущей верности, пощупал спину ещё и рукой. Вначале правой, а потом левой. Жаль. На спине, на растущие крылья, не оказалось даже намёка.

Почему так?

Вот этот вопрос – третье, что меня так поразило.

В книге имелись и другие, и тоже очень интересные картинки. Однако первая картинка больше остальных почему-то запомнилась. И она долго мне не давала покоя. Я к ней, то и дело возвращался. И всё смотрел, и смотрел. Каждый день, несколько недель кряду, я подолгу проводил время в закроме, глядя на цветную картинку и все, пытаюсь ответить на мучившие меня вопросы. А потом, к моему несчастью, книга взяла и исчезла. Перерыл я весь закром. Но тщетно.

Книгу я так и не нашёл.

Куда она подевалась, не знаю и до сей поры [44].

В летнее время меня очень сильно тянуло на речку. Хотелось сходить туда вместе со старшими хуторскими ребятами. Никаких родительских запретов на передвижение у меня не имелось. И первое время, я не ходил на речку лишь только потому, что до неё бы я не дошёл. Когда же подрос, тогда речка стала для меня [45] основным местом обитания и дополнительного прокорма.

Плавать меня научили в первый же день. Старшие ребята, взяв за руки, за ноги, раскачали на берегу и на счёт раз, два, три забросили подальше от берега. Хочешь, тони, а хочешь, плыви. Как ни странно, с Божьей помощью, я выбрал второе [46].

Там же, на нашей речке, освоил я и рыбалку. В Донецкой Сеймице тогда нерестилось и разводилось много различной рыбы. От зеркального карпа и до всем известного пескаря [47]. Попадались старым рыбакам и усатые сомы. Редко, но попадались. А раков в речке водилось столько, что не обходилось и дня, чтобы кто-нибудь из нас на них не наступал. Раков мы налавливали полные вёдра. А после, в вёдрах же и варили на берегу. Что может быть вкуснее варёного рака? Разве, что речной налимом [48].

Любезному читателю, недоумевающему по поводу моего полубеспорядочного детства, охотно поясню нижеследующее.

Дело в том, что воспитанием своих детей [49] колхозники почти никогда не занимались. К примеру, мой начальственный отец обращал на меня внимание только тогда, когда меня уже надо было наказывать, то есть пороть. Других мер наказания [50] с отцовской стороны ко мне не применялось. И это понятно. Нашим родителям было не до нас. Каторжный труд, поневоле отодвигал детей на второй [51] план. Поэтому и воспитывала нас не столько родительская любовь и опека, сколько, не до конца ещё забытая, крестьянская традиция, труд и улица. В бытность мою малым и несмышлёным дитём, так оно и было на самом деле.

Социальное [52] бесправие колхозника низвергло его в ужасную, бездуховную пропасть.

Низвергло до уровня обыкновенного советского раба [53]. Антихристианская сущность советской системы не могла быть на стороне мелкого колхозного собственника, как не могла быть и вообще, на стороне трудового русского человека. Она закрепостила человека на земле так, что ему бедному нельзя было ни голову поднять и ни слова молвить. Система строжайшим образом следила за своей прочностью.

И не приведи Господь, если кто-то из строптивых колхозников свою голову поднимал или там изрекал какое крамольное слово [54]. Такого храбреца (или безумца) ожидала каторга уже иная и куда более страшная. Гулаговская каторга. Где часто храбрую голову отсекали долой или же крамольный рот затыкали свинцом.

Люди работали в колхозе весь световой день. Работали без праздничных и выходных дней. Колхозник вставал в четыре-пять часов утра. Быстро завтракал, чем Бог послал и спешил на работу. С работы возвращался уже в тёмное время и вместо отдыха, сразу же брался за неотложные работы по домашнему хозяйству. И так изо дня в день и из года в год. Поэтому воспитывать детей ему было всегда некогда. На это не хватало ни времени, ни сил. Отсюда наше и столь вольное деревенское детство.

Даже если сельский человек серьёзно заболел, то предупреждённые системой местные врачи, справку об освобождении от тяжёлых работ ему не давали. За такой справкой надо было ехать очень больному человеку в город и покупать её там за большие деньги или дефицитные продукты – яйца, масло, парное мясо. На моей памяти и к людям уже лежащим на смертном одре приезжали колхозные начальники с милиционером, дабы и такого человека выгнать на работу.

Это с одной стороны.

С другой же стороны, здоровый сельский человек и сам рвался на колхозную работу, так как без пресловутых колхозных трудовней, с одного своего огорода, он не мог прокормить семью. Хотя и не всегда, но, в относительно урожайные годы, на трудовни выдавали в колхозе зерно, солому и какие-то копейки денег, которых едва хватало на фуфайку или кирзовые сапоги [55].

Крестьянский труд делал нас сильными и выносливыми. К нему мы приучались с раннего детства. Ничего не поделаешь, скудная жизнь заставляла начинать рано трудиться. Да нам и самим хотелось помочь своим родным и близким, и внести свою посильную, пусть и пока ещё детскую лепту, в общую семейную копилку. Часто копилку слёз и разочарований.

И нам не надо было лишний раз напоминать о тяжёлой колхозной жизни. Она и так вся проходила на наших глазах. Родительские стоны и неприглядные разговоры о ней навсегда запечатлевались в нашей памяти. Поэтому, воля волей и речка речкой, а без домашней работы обходиться было нельзя. Сначала работа, а потом уже вольности и всё остальное. Пригляд за младшим братиком или сестрёнкой, пастушество и помощь при уборке огородных овощей, всё это с ранних лет ложилось на наши детские плечи. И по мере взросления, ноша эта только лишь возрастала и увеличивалась.

Остаточная богобоязненность, страх Божьего наказания, а так, пуще того, людское порицание и осуждение, не позволяли колхозникам переступить через нравственные и традиционные запретительные кордоны. Как немощные и грешные люди, жили и на моих родных хуторах не без греха. Случалось всякое, однако уж слишком неприглядных излишеств мои родственники и земляки не допускали.

Самогон пили и ругались матерно. Позднее и воровали в колхозе. Всё это было и на моих глазах. Да и меня зацепило грешного. Но человеческого обличья и образа Божьего тогда ещё особо не порастрясли и не потеряли. Православные крестики многие на персех носили, и правильно креститься, ещё не разучились. О вере, об исповедничестве речь не идёт. Кто горячо веровал и исповедовал не понарошку, а по-настоящему, тот находился уже давно в местах не земных или не столь отдалённых. Бога почитали, скорее, по традиционной инерции, нежели по душе и сердцу. Говорю об общем впечатлении, да и то, впечатлении несмышлёном и детском. И прости меня, Господи, если по немощи своей я в том ошибаюсь!

В царское время голодом крестьян не морили. Да и немислимо было такое. В засушливые или неурожайные годы крестьянин один на один с бедой никогда не оставался. Божья милость и человеческое христианское милосердие снисходили до крестьянского горя. Не знаю, сколько людей уморили советы голодом в начале тридцатых годов [56], как-то эта информация не зацепилась и прошла мимо моей памяти, а вот в сорок шестом или сорок седьмом году на нашем хуторе от голода умер один человек. Жил он в семье. И звали его Антон. Но ни семья, и никто из хуторян так и не смогли ему помочь [57]. Почему? Да потому, что сами ходили от голода пухлыми и только чудом Божьим остались живы на земле [58].

Электрического света в нашей старой хате я так и не дождался. Да и не слышал о нём ничего. Летом мы жили без искусственного освещения, а зимой и в остальные короткие световые дни, освещались керосиновой лампой. Керосин в магазине дорогой, поэтому особенно не освещивались. Экономили [59]. «Лысая» [60] лампочка под низким потолком хаты не висела. Это верно. А вот «радиоточка» на стенке была. В пять часов утра [61] она будила меня своим устрашающим гимном. Гимн исполнял роль петуха или будильника. По нему отец, мать и бабушка поднимались на работу. После гимна радио выключали. Выключали не из экономии, а из-за советской пропагандистской противности, противной до приторности. Кому-то, может быть, жить при советах было и хорошо, а нам таки нет. Кому хорошо, тот пусть и слушает.

Правда, когда стали запускать советские спутники, и когда полетел в космос Гагарин, тогда радио выключать перестали. Всё ж таки звёзды притягивали. И слушать новости об успешном освоении космического пространства было чрезвычайно интересно. Голос еврей-диктора, с душетрепещущим началом: «Внимание, внимание! Говорит Москва. Работают все радиостанции Советского Союза...» [62], притягивал наши уши и души не хуже колдовского камлания-заклинания.

Но всё это случилось значительно позднее.

А пока же я рос и помаленьку набирался ума и разума [63]. Игрушек мне не покупали. Конфет и пряников тоже. А настоящие плисовые штаны бабушка пошила ближе к зиме. Первая осмысленная зима показалась мне не менее интереснее лета.

И объяснялось это просто.

Ещё весной к нашему двору [64] прибилась большая и лохматая собачка. Назвали мы её Дамкой. Собачка быстро освоилась и так со мной подружилась, что не отходила от меня ни на шаг. Дядюшка Алексей, ещё весной, построил ей собачий домик. А когда мы дожили до зимы, и когда уже намело много снега, то приехал трактор-бульдозер и расчистил нашу хуторскую дорогу. После бульдозерной чистки, дорога получилась похожей на длинный, предлинный желоб.

В это время дядюшка и придумал мне удивительную и ни на что не похожую игру. Он пошел на Дамку крепкую сбрую. Потом показал мне, как надо правильно запрягать её в лёгкие самодельные санки. Помог с этим делом и, усадив на санки, тронул собачку вперёд. Дамка, казалось, поняла, что от неё требуется и тут же, сходу, взяла в свой собачий карьер. Деваться с дороги ей было некуда. По обе стороны высятся снежные стены от бульдозера. Она лихо промчала меня в конец хутора. Там я её повернул обратно, и Дамка легко домчала меня до родимой хаты. Этот манёвр мы повторили несколько раз. Вначале я не видел, что дядюшка и вышедшие из хат люди, с интересом наблюдают за нашим катанием.

А когда увидел, то кататься стало ещё интересней.

С Дамкой мы быстро освоили ездовую науку. После первого пробного дня, теперь уже каждый день, я запрягал свою любимую Дамку и долго катался на ней по скользкой дороге. Зимой наше питание улучшалось. Дядюшка Алексей нас подкармливал дичью. Зайцев в округе водилось столько, что их следы петляли везде: в саду, в огороде и даже во дворе. На зайцев дядюшка охотился. И двух-трёх легко добывал. Почти каждую неделю зайчатина появлялась на нашем столе. Понятное дело, что все заячьи потроха и кости доставались Дамке. Перепадало ей от моих щедрот и когда резали, какую скотинку. Обратное же, хлеба и молока вволю. Нет, мы с Дамкой не бедствовали. Домик я ей утеплить. Положил на пол старую, престарую

фуфайку, а с боков и до самой крыши [65] нагрёб пушистого снега.

Той первой зимой, не случись дядюшкиного изобретения, мне бы так и пришлось сидеть дома, и изредка гулять во дворе. По глубокому снегу и крепкому морозу далеко от двора не уйдёшь. А на собачьей упряжке я мог легко и с огромным удовольствием [66], совершать дальние прогулки.

После старого Нового года в хату внесли новорожденного телёнка и поросёнка. Как и в прошлый раз, с ними я легко подружился. И теперь уже интересное время делилось между Дамкой и моими новыми друзьями. Ближе к весне Дамка неожиданно пропала. Я её везде искал и не находил. Слез вылилось много. Каждое утро я выходил из хаты и в надежде на возвращение своей лохматой подруги, всё звал: «Дамка! Дамка!». Звал до тех пор, пока бабушка не затаскивала меня обратно в тепло. Позже старшие меня убедили, что Дамка убежала к старому собачьему другу и что теперь ей с ним радостно и хорошо [67]. Как будто со мной ей было так плохо.

И всё же я успокоился, и перестал звать её по утрам.

Следующие времена года, да и сами года, особым разнообразием не отличались. Рос я крепким и подвижным ребёнком, постепенно приучаясь, вместе с младшим братом и бабушкой, делить родительские радости и печали. Как и в каждой семье, радостей и печалей хватало.

В одну из холодных зим отец уехал на лесозаготовки. И его отсутствие мне показалось вечностью. Потом была радость его возвращения. Строительство нового дома. И полёт человека в космос. После полёта Гагарина, мы все стали играть в лётчиков и космонавтов. И, конечно же, хотели стать непременно участниками следующих космических экспедиций - на Луну там или на Марс. Нам казалось, что раз человечество вышло в космос, то оттуда оно уже никогда не уйдёт. И что марсовские песенные садоводы [68] так разойдутся в области инопланетного садоводства, что не ограничатся одной лишь только красной планетой. Мы боялись из-за них не успеть, поэтому, со всей силы и старались расти, ещё не умея ни читать, ни писать.

Полёт Гагарина усилил неверие в Бога. Ушлые люди, всё чаще и чаще, стали поговаривать о Божьем отсутствии. В своём грехе они ссылались, как раз, на Гагарина, с усмешкой талдыча о том, что, мол, Гагарин летал высоко и в космосе Бога не видел. Эти люди не понимали, да и не желали понять, что не космическая ракета приближает нас к Господу, а Вера и исполнение заповедей Его. Всё остальное не столь важно. В том числе, где [69] и на чём ты передвигаешься по этому тварному миру. Идёшь ли пешком по земле. Плывёшь ли на корабле по морю. Или летишь в космическом корабле по необъятной Вселенной.

Не знаю, как космические полёты воспринимались в городе, а вот деревенские люди просто ополоумели от этих полётов. Только и разговоров было, что о полётах. Внеземным энтузиазмом [70] радио заразило всех. И стар, и млад наострились вслед за Гагариным.

Позови нас и завтра же, полетим хоть к сатане на кулички. И ничего удивительного.

Родители заразились от радио, а мы от родителей. Ну, а советское радио с евреем-диктором у микрофона - понятное дело от кого...

И всё же, нет, нет, да и проскакивали мимо моих ушей слова скептических сомнений, а то и ядрёных ругательств. Их щедро отпускали по нашему адресу, отживающие свой век старики. Теперь-то мне понятно, что отпускали они не просто так, а для уврачевания (торможения) всеобщего психоза. Их было двое. Одного звали - дедушка Трофим, а другого дедушка - Матвей. Жили они на разных концах хутора и мне казались столетними. И Трофим, и Матвей всегда что-то говорили поучительное или кого-то нещадно ругали. К стариковскому полужуровству хуторяне уже привыкли. И к их словам почти никто не прислушивался. И понятно, почему. Времена-то и люди другие. Ругаются? Ну и пусть себе ругаются. Да и ругали-то они не сами космические полёты, а всё больше товарища Хрущёва вместе с товарищем Гагариным.

Помню, в те ранние детские годы меня всегда тянуло к взрослым. И не только к родным или близким. Тянуло ко всем. Знакомым и незнакомым. К трезвым и не очень. К сильно



пьяным только не тянуло. Мир взрослых людей казался мне значительно интереснее, и гораздо шире и выше детского мира. Ещё бы. Взрослым позволялось многое, а детям [71] только малое. И поэтому тоже, мне хотелось побыстрее вырасти, и стать таким же, как и они. Особенно меня притягивали работающие люди. А когда они отдыхали, я любил слушать их рассказы о колхозной или домашней работе, о военной или довоенной жизни. От этих рассказов мои уши никогда не уставали и я мог слушать их сколько угодно долго [72].

Однажды, мне удалось незаметно подойти к нашим хуторским мужикам и подслушать [73] их неторопливый разговор о довоенной судьбе двух соседей-колхозников [74]. Хуторяне сидели на не ошкуренных сосновых брёвнах, смачно курили самосад и между сигарными затяжками, вели тихую беседу об этих несчастных людях. Сейчас уже не помню, как их и звали. Я подрос тогда вовремя. Разговор только начинался, поэтому я не успел ничего пропустить. Краткое повествование началось с того момента, когда морозным ранним утром два соседа, вместе с другими, такими же, как и они, колхозниками, пришли в контору за нарядом. Один из них, увидев на промёрзшей стенке, подмоченный инеем, газетный портрет Сталина, не удержался и негромко сказал приятелю.

- Смотри-ка, а Сталин-то подмок.

И всё. Больше он ничего не добавил. Ни слова, ни полслова. А приятель тот и вовсе промолчал. Тем не менее, и произнесённых вслух слов (для советского беззакония) оказалось достаточно. Кто-то донёс, куда следует и вечером их обоих забрала НКВД. В районе соседи долго не задержались. Через какое-то время, оба оказались в застенках Курского областного НКВД. И просидели там, на воде и тюремной баланде, без малого, почти год. Их судьба сложилась бы ещё трагичней и намного печальней [75], если бы не земляк-следователь, случайно увидевший знакомые фамилии в одном из расстрельных списков. Каким-то чудом, ему и удалось вытащить обоих приятелей из страшных застенков НКВД.

Теперь трудно сказать, почему хуторских мужиков увлекла эта тема. То ли на душе наболело, то ли просто выпало такое настроение. В жизни случается всякое. Да и не в этом суть. Для меня интересно другое. Они так раззадорились, что на одном воспоминании о соседях-колхозниках не остановились. Взрослые дяди стали наперебой перечислять всех известных им в округе людей, так или иначе, пострадавших от советской власти. Некоторые из них уже были знакомы и мне. Особенно меня удивило, что и наша родственница из соседнего хутора - бабушка Аня - тоже три года провела в исправительном лагере, за ржаные колоски [76].

А я и не знал.

Задним числом, все мы часто умны. Так же и со мной. Сейчас-то понятно, что в сталинские времена до такого откровенного мужицкого разговора дело бы не дошло. Что вы! Не дай Бог таких откровений. В сталинские времена все опасались друг друга. И держали свои рты на замке. Даже с родными и близкими. Но Хрущёв не Сталин. При Хрущёве уже так не боялись, поэтому языки у простого народа и развязались. И ещё бы им не развязаться после такого молчания.

Конечно, от советского страха мы не избавились. Об этом можно только мечтать. Да и за одно-два поколения животного страха никогда не изжить. И всё же, жить стало заметно вольней. Однако здесь следует оговориться и напомнить о том, что многое в жизни познаётся в сравнении. И относительная хрущёвская вольность тоже сравнительна. Грех думать о ней широко. Сам прошёл через это, поэтому с чистой совестью и говорю, что советскую власть хуторяне побаивались всегда.

И при Хрущёве и даже при Брежневеве...

Судите сами.

Когда на нашем хуторе появлялся человек в милицейской фуражке [77], жизнь вокруг на версту замирала. Мне казалось, что при его появлении время останавливается, приоткрывая двери в вечность. Свет в очах меркнет. И в душе холодно. Всё на место становилось только тогда, когда этот страшный человек исчезал с нашего горизонта. Молва о его появлении

прокатывалась по всему околотку и шла за ним следом от начала и до конца. И стар и млад едва не крестились на прах с милицейских сапог. А со всех сторон с придыханием слышалось: «Слава Богу, что на этот раз пронесло [78]».

Только далеко не всегда проносило. Колхозная жизнь, она такая. И, как известно, не без греха. К незащитному и забитому работой человеку всегда легко придраться. То к самогоночке, то к беспроцентной солодке, то ещё к чему. Был бы человек, а повод, он завсегда найдётся.

Ввалится такой краснофуражечник без спросу в хату и тут же начинает, стращая, приниматься. А то и в наглуую выискивать компромат. Попробуй, выгони такого зрелого «фрукта» из хаты. Даже и не думай! Он тебя так выгонит, что мало потом не покажется. Значит, что надо бедному колхознику делать? Понятное дело, что. Надо поить и кормить властную держиморду. Поить-то ещё, куда ни шло [79], а вот с кормёжкой похуже. От детей ведь отрывать надо. Ничего. Сдюживали. Поили. Кормили. И отрывали от детей, куда же денешься.

Однажды я остался в старой хате один [80]. Случилось это, когда мне исполнилось годиков пять или шесть и по хуторским меркам, я считался уже вполне самостоятельным и едва ли не сложившимся человеком. Этаким маленьким мужичком. Родители вместе с младшим братом и бабушкой на ночь куда-то уехали [81]. Уехали не сразу, а после ответов на вопросы. Что мне там кушать? И как вести себя одному? [82] Объяснив, что и как, сели в сани и куда-то уехали.

Ничего особенного не произошло. Рос я не из боязливого десятка, так что отъезду только обрадовался. От дополнительной свободы, кто же отказывается? На улице уже смеркалось. И как только лошадь с родными отъехала от старой хаты, я тут же почувствовал себя полноправным хозяином и приступил к тем обязанностям, которых мне никто не поручал. Первым делом, я надёргал из копны сена и положил его вволю бурёнке. Молоко-то, чай, сена дороже [83]. Из закрома, не жалеючи, насыпал курам зерна. Глядишь и куры занесутся сильнее. И покормил мукой поросёнка, щедро рассыпая её по всему корыту. После всех этих хозяйских хлопот, удовлетворённый от честно исполненного долга, я зашёл в хату и закрыл дверь на крючок. Мои руки тут же зачесались зажечь керосиновую лампу. Но спички родители надёжно припрятали. Сходу я их не нашёл. И это мне не понравилось. Днём бы я спички нашёл [84]. Но в потёмках искать не хотелось. Поэтому ужинать пришлось в темноте. Не велика беда. Что при свете, что в темноте – разница небольшая. Всё равно, мимо рта не пронесёшь.

После ужина, я немного поколупал пальцем лёд на оконном стекле. Пару раз попрыгал на скамейке возле печки. Потом мне стало скучно, да и зеваться что-то начало. Не долго думая, я разделся, залез под бабушкино одеяло и скоро заснул. Обычно мой сон длился до самого утра. И когда я проснулся, то вначале и подумал, что уже позднее утро. И как не подумать, когда в хате светло. Позднее мне этот свет показался необычайным. Ни утром, ни днём такого света я раньше не видел.

Открыв пошире глаза, напротив икон у окна, я увидел совсем невысокого человека в белой одежде. Человек стоял у икон, не обращая на меня никакого внимания. Стоял он прямо, в белоснежной рубахе до пола и ничего, как будто не делал. Просто стоял. Спиной ко мне. И всё [85]. Полупал я полупал своими несмышлёными глазами. Потом их закрыл и обратно заснул.

Родненькие мои!

Впечатлений от детских воспоминаний осталось множество. Они ещё не совсем поистёрлись в памяти. А если, что интересное запомнилось, по немощи человеческой, Бог даст, вспомню и допишу. Следующая глава моя посвящена советской школе. С самого раннего детства, она была на слуху и о ней мне всё время напоминали. Скажу без лукавства, учиться в школу тянуло. И те из детей, кто уже сподобился первого класса Нижне-Гусынской начальной школы, казались мне намного авторитетнее и значительнее таких вот, как я. Они уже научились писать и читать. Их умение и знания превосходили мои. Я это осознавал и печалился. Остаться неграмотным не хотелось. Жажда знаний меня потихоньку сушила и

требовала утолений.

И вот настал тот день, когда двери начальной школы, наконец, открылись и передо мной. Случилось это событие осенью 1963 года.

## **ГЛАВА ВТОРАЯ**

### **Школа.**

«...Сколько бы человек ни трудился в исследовании, он всё-таки не постигнет этого; и если бы какой мудрец сказал, что он знает, он не может постигнуть *этого*».  
(Книга Екклесиаста, или Проповедника. 8. 16).

От моего родимого хутора Нижне-Гусынская начальная школа отстояла в каких-то полутора-двух километрах. Своё название она получила от одноимённого хуторского местечка, протянувшегося от Журавского моста и до разрушенной ветряной мельницы. Советы открыли её не сразу, а с утверждением власти на хуторах. И случилось это, где-то, в конце двадцатых или начале тридцатых годов. С тех пор она и работала, усиленно обучая начальной грамоте чумазых крестьянских, а потом и колхозных детей.

Само школьное здание находилось на пустыре, что в двухстах метрах от бригадной кузницы и небольшого колхозного поля. Если смотреть прямо с пустыря, то за кузницей и полем хорошо видно полуразрушенную конюшню и две пустующих фермы. За ними располагалась тракторная база. И за базой уже тянулись бескрайние колхозные поля. Школьное здание, хотя и деревянное, но, по месту и времени, представляло собой величественное строение, со стороны похожее на сказочный русский терем.

Через классы начальной школы прошли многие окрест живущие хуторяне, в том числе и мои родные – отец, дядюшки с тётушками и даже бабушка Анастасия. Бабушка Анастасия прошла обучение при всеобщем ликбезе, правда, так и, оставшись на всю жизнь неграмотной [86]. Школа советская, пусть и начальная, кроме начальной грамоты, грешила ещё и безбожием.

Вечно так продолжаться не могло. И...

Года за два или за три до моего поступления, последовало Божье наказание. Неожиданно разверзлись небеса. Блеснула яркая молния. И школа моментально сгорела. Грома никто не слышал. Поэтому, кое-кто из людей перекрестился и в страхе Божьем забыл о космических полётах. По хуторам ещё прокатилась людская молва и вскоре такое воистину яркое и потрясшее душу событие, как говорят сегодня, всколыхнуло общественность. Резонанс от общественных колебаний докатился до районного, а то и областного начальства.

К тому времени враги народа уже отошли на второй план. А к Богу и Его молнии политическую статью не пришьёшь. Поэтому виновных в пожаре искать скрупулёзно не стали. Дело о происшествии органы потрясли, потрясли и вскоре тихо прикрыли. Высокое же начальство подсуетилось и без обычных проволочек, выделило деньги на постройку новой школы.

За одно лето, прямо рядом с пожарищем, её и построили [87].

Как бы там ни было, но ту, сгоревшую школу я помню. В трескучий мороз, один из взрослых хуторян надо мной подшутил [88]. И в надежде разжиться на ёлке дармовыми конфетами, я и прикатил на самодельных лыжах в эту старую школу. Школа мне показалась большой и красивой. Особенно запомнилось богатое резное крыльцо. Запомнилось оно не столько богатой резьбой, сколько своей труднодоступностью. Долго мне не удавалось перелезть через его высокие ступеньки. Дяденьки-плотники сделали их, не примерив к моим детским ногам. От того и пришлось преодолевать препятствие с помощью рук, и на четвереньках.

От крыльца двигаться легче. Прочно став на ноги, я толкнул тяжёлую дверь и с трудом протиснулся в коридор. А из коридора уже легко ввалился в большую и светлую комнату с

украшенной ёлкой посередине, множеством незнакомых ребят и несколькими взрослыми тётеньками и одним строгим дяденькой. Вначале они опешили от моего появления и долго меня молча рассматривали. Разглядывал их с интересом и я. Потом строгий дяденька не выдержал и громко спросил.

- Ты, кто такой?!

- Я, мальчик - Витя Балабанов, - ответил я, не задумываясь.

- Так, понятно. Ты, мальчик - Витя Балабанов, - повторил утвердительно дяденька. И тут же, он с упрёком спросил. - И зачем ты, мальчик - Витя Балабанов, сюда пришёл?

- Как, зачем? - обиделся я. - За конфетами.

- За конфетами, - словно не поверив моим словам, протяжно произнёс разговорчивый взрослый. - Кто же тебе сказал, что мы раздаём таким маленьким детям конфеты?

- Я не маленький. Я уже большой.

- Неужели? - уже смеющимися глазами опять не поверил мне дяденька.

Эти смеющиеся лучики в глазах я заметил. И ещё заметил улыбки на лицах тётенок и старших ребят. Кое-кого из них, я уже начал узнавать. Вон, Петька Виноходов стоит. А перед ним Любка Лысикова расселась. Откровенный смех надо мной не дал разглядеть всех знакомых получше. В душе закипала обида. И от пассивного лицезрения, я тут же перешёл в жёсткую атаку.

- А ты, кто такой? - спросил я взрослого человека.

- Я, учитель.

- Учитель, - уже тише повторил я следом. И тут только до меня стало доходить, что прикатил-то я не в магазин, а в самую, что ни на есть, настоящую школу.

- Да. Я учитель, - подтвердил свои слова дяденька.

- Значит и меня будешь учить? - спросил я на всякий случай.

- А, ты хочешь учиться?

- Не знаю, - пожав плечами, ответил я чистую правду. - А, они хотят? - указал я пальцем на Петьку и Любку.

- А мы их сейчас спросим. Ребята, вы хотите учиться? - обратился учитель ко всем.

- Да, - нестройным хором ответили мальчики и девочки.

Не помню, о чём мы там дальше с ним говорили. Обида моя прошла. И лёд недоверия в душе растаял. Вскоре, нас обступили незнакомые тётеньки и старшие ребята. Наперебой посыпались какие-то вопросы. Все стали о чём-то со мной заговаривать. Сюсюкаться и даже заискивать. От всеобщего внимания я растерялся и сник. Мне захотелось домой. Домой, так домой. Конфет в карман не насыпали. А дали Петьку в провожатые и вместе с ним выпроводили из школы.

На том и закончилось моё приключение.

Мороз и крыльцо - не помеха, да и с конфетами вышел не малый конфуз. Но это, беда, не беда. Я ни о чём не сожалел.

Зато новогоднюю ёлку увидел и познакомился с будущими учителями. И вот ещё память о старой школе осталась [89].

Новую школу построили уже без резного крыльца. На такое крыльцо и сказочную архитектуру денег начальство не нашло. Построили простенько, в виде скотского сарая. Правда, крышу накрыли не ржаной соломой, а шифером. Два коридора - холодный и тёплый, учительская и две классных комнаты с печным отоплением - вот и вся вам начальная школа. Учащиеся занимались в ней в две смены. Первый и второй класс, в первую, а старшие классы - третий и четвёртый, во вторую смену.

Директором начальной школы работал Матвей Данилович Жданов.

К моему стыду и удивлению, им оказался тот самый строгий дяденька, с которым я познакомился ещё в старой школе. Вместе с ним работали три учительницы. Фаина Максимовна, Полина Михайловна и Татьяна Кондратьевна. Все школьные учителя родились и выросли в наших местах, поэтому они прекрасно знали не только наших родителей, но и

бабушек с дедушками [90].

Матвей Данилович Жданов, по всем хуторским околоткам и весям, слыл человеком мудрейшим. За человеческие достоинства его много раз хотели избрать председателем колхоза. И не только хотели, но и всегда очень долго упрашивали. Только он, по каким-то причинам, не соглашался [91]. Справедливости ради, надо отметить, что в мою школьную бытность, авторитет сельского школьного учителя находился на такой высоте, о которой сегодня нельзя и мечтать.

Авторитет же Матвея Даниловича был и вовсе непререкаем.

Как и многие хуторяне, он участвовал в советско-германской войне. И вернулся с неё в звании старшего лейтенанта [92], и с партийным билетом в кармане. Как я теперь понимаю, партиец из него получился не, ахти какой. Разве, что - числился только. А вот исполнял он порученное ему ответственное дело, уже не спустя рукава, а, как и надо, по чести и совести. Специального учительского образования Матвей Данилович не имел. До войны ему удалось закончить зоотехникум. Но поработать по полученной специальности так и не довелось. Сразу же, по окончании техникума, его направили в систему советского начального образования. И надо сказать, с этим направлением они не ошиблись. Живи Матвей Данилович человеком беспартийным, не грех бы мне написать, что учителем он был от Бога. А так...

Посудите, уж, сами.

Если же говорить об образовании и воспитании шире, то моё личное мнение здесь однозначно такое. Лучше православно-монастырского образования и воспитания нет, не было и быть не может [93]. За ним следует домашнее образование и воспитание [94]. И дальше, то образование и воспитание, которое даётся детям одним учителем. Советская начальная школа последним удачным примером, как раз и обладала. О ней и речь. Повторяю, только начальная школа! Восьмилетняя же, средняя школа и школа высшая такого очевидного преимущества, к сожалению, уже не имели [95].

Фаина Максимовна, Полина Михайловна и Татьяна Кондратьевна не достигли до директорского авторитета. Но и того, что у них имелся, им хватало с лихвой. Любая их просьба о помощи, по своему ли домашнему хозяйству или просьба другая, исполнялась хуторянами всегда незамедлительно, добротнo и качественно. Учителя начальной школы учили, воспитывали и опекали детей хуторян. А хуторяне, в свою очередь, почтением, уважением и крестьянскими трудами, опекали школьных учителей.

Так было. И таково вступление. А теперь об обучении и обо всём остальном. Итак...

Господи, благослови!

Первого сентября, выше означенного года, я и поступил в первый класс Нижне-Гусынской начальной школы. От роду мне исполнилось семь лет восемь месяцев и десять дней. По школьным прикидкам, года выходили серьёзные. Поступил не один, а вместе с одиннадцатью своими погодками. Восемь мальчиков и четыре девочки. Итого, получается ровно двенадцать первоклассников.

К нашему поступлению новую школу уже успели обжить. Внутри пахло знакомой мне жизнью, пусть и не такой, как в старой хате или недавно построенном доме, но всё же пахло замечательно. По всей школе разносился книжный и чернильный дух, дух тетрадный и тот самый, русский и человеческий, который так не нравится всяческой нечистой силе.

Мне понравилось дышать этим воздухом.

Матвей Данилович отвёл нас в маленькую классную комнату. И рассадил за парты. Парт в классе десять. И они стоят в два ряда. В первом ряду семь парт и во втором ряду три. Девочек он посадил с девочками. А мальчиков с мальчиками. Девочки сели за парты первого ряда, напротив учительского стола. Им хватило первых двух парт. За ними, на третью парту, сели два мальчика. А остальные мальчики расселись за партами второго ряда.

Мне с Лёником Ждановым досталась последняя парта. Пусть и последняя, зато у печки. Значит, зимой не замёрзнем.

Так думалось мне [96].

Потом учитель нас всех перезнакомил [97]. Назвал себя. И приступил к занятиям.

Никто из нас не умел ни читать [98], ни писать, а считать мы умели только до десяти [99]. Не знаю, было ли от этого Матвею Даниловичу легче.

Скорее, да, чем, нет.

В сельской начальной школе [100] все общеобразовательные предметы в классе ведёт только один учитель. Если учитель знает и любит своё дело, то это всегда было большим плюсом. Матвей Данилович, не только знал и любил своё дело, он ещё был и великолепным воспитателем, и отличным детским психологом. Ничего не скажешь, повезло нам с нашим учителем [101].

Все мы желали учиться. Это верно. Разные же способности и таланты нашего желания не уменьшали. По способностям и талантам учитель никого не выделял. Конечно, у кого-то их было больше, а у кого-то и меньше. Сколько Бог дал, столько и есть. И тут уже ничего не поделаешь. Так было и так будет всегда [102]. Соль моей мысли в другом. Без оглядки на разного рода задатки, Матвею Даниловичу удалось наше пассивное желание учиться преобразовать в активный творческо-образовательный интерес [103]. И в этой педагогической удаче несомненная заслуга нашего первого учителя.

Из своего личного опыта мы хорошо знаем, что по жизни случается много разочарований. Без них на этом свете не проживёшь. И, как известно, начинаются они далеко не всегда со зрелого возраста. Детские разочарования часто приводят к необратимым последствиям. И вернуться, потом к необходимому жизненному моменту [104] бывает проблематично, а то и совсем невозможно.

Написал я всё это для того, чтобы лишний раз подчеркнуть и нагляднее вам показать, что привитый к обучению интерес, всё же, гораздо весомей и намного значительней нашего простого желания к обучению. И что он-то и явился той самой преградой к моему первому разочарованию [105]. На протяжении четырёх лет Матвею Даниловичу удавалось поддерживать мой интерес и тягу к знаниям. И скажу вам, что это дело совсем не такое простое. Надо обладать воистину многими талантами, чтобы, столь длительное время, тяга к знаниям и огонёк заинтересованности в детских глазах не мерк и не угасал.

Редко кто из учителей обладает такими талантами...

За учительским столом, прямо посередине стены, висит коричневая школьная доска. Внизу на её приделе лежат мокрая тряпка и белые меловые кусочки. Аверху, над доской и по всем комнатным стенкам, висят плакаты. Плакатов много, их и не сосчитать. Перед доской стоят ещё большие счёты. Правее печка. Вот и весь наш классный интерьер. Об учительском столе и партах я уже говорил. Забыл упомянуть об учительском стуле и окнах. Стул стоит, где ему и положено. А окон двое. Они слева от меня. Окна большие и выходят на широкий пустырь. На пустыре ученики четвёртого класса играют в лапту [106].

На улице весна...

А у нас урок арифметики. Арифметику я очень люблю, поэтому и стараюсь не отвлекаться. Хотя и не только поэтому. На игру тоже хочется посмотреть. Шурик тётин Марусин, как раз подаёт. Шурик сильный игрок. Даже посильнее Кольки Цыгулёва. Колька Цыгулёв тот всё больше хвастается. Как будто мы слепые и не видим, кто лучший.

Все примеры я уже давно решил. Примеры лёгкие и их просто решать. Теперь вот мозгую над интересной задачкой. Её обязательно надо решить. Матвею Даниловича подводить нельзя. Это я понимаю. Он сегодня не один, а вместе с инспектором из какого-то роно [107]. Инспектор - строгий дядька и он мне не понравился. Вернее, больше не понравилось, как Матвей Данилович перед ним заискивает.

Как же, вышестоящий начальник...

Лапта меня здорово отвлекает и не даёт сосредоточиться. Если Любка Волошенко не решит, тогда мы все перед инспектором опозоримся. И учителя своего опозорим. Зря, что ли, штаны протираем на партах. Второй год уже пошёл, как по ним ёрзаем. За первый класс научились всему. Теперь вот дальше стараемся. Любка - зубрилка. Зубрит и зубрит. Всё

зазубривает наизусть. Она так боится родного отца, что прямо дрожит вся. И мне её очень жалко. Отец у неё такой, что только попробуй, принеси домой кроме пятёрки что-нибудь другое. Сразу хватается за ремень. Даже четвёрки ему мало. Нет. Любка это задание не решит. Самому надо кумекать. Если бы не эта лапта, тогда бы, конечно. А так, попробуй тут реши.

Наконец, оторвавшись от интересной игры, я сосредоточиваюсь на задачке и вскоре её быстро решаю. Теперь можно смотреть и на лапту. От пустыря в класс проникает слабое эхо игры. Если прислушаться, то слышны азартные крики и смех. Но вдоволь насмотреться на игру мне опять не дают. Тогда задачка, а теперь Матвей Данилович, заметив мой посторонний интерес, спрашивает.

- Балабанов, ты уже всё решил?

Оторвавшись от окна, я киваю вначале головой, а потом, спохватившись, отвечаю, как надо.

- Всё.

Матвей Данилович и строгий инспектор из роно, неожиданно встают со стульев и подходят к моей парте. Оба заглядывают в тетрадку. Потом удовлетворённо смотрят друг на друга. Отходят и садятся обратно на свои места. Но сидят они почему-то недолго.

Вскоре оба поднимаются.

И инспектор спрашивает.

- Ребятки, кто ещё решил задачку?

Все молчат. Урок-то ещё не кончился. Может Любка и решит задачку. Но, куда там. Инспектор не даёт никому закончить.

- Теперь хочу вам, ребятки, задать вот какую задачку, - потеряв рукой подбородок, говорит нам инспектор. - Только не спешите с ответом. Хорошо?

Заинтригованные мы все, как рыбы молчим, а инспектор продолжает урок.

- Задачка, ребятки, вот какая. Случилось это в войну. Из одного нашего города надо было срочно вывезти секретный пакет. К городу немцы подходили уже близко, поэтому время не терпело отлагательств. Ответственное задание поручили одному нашему отважному лётчику-истребителю. Получив задание, он взлетел со своего аэродрома. Поднялся в воздух и ровно через один час и двадцать минут приземлился в нашем городе. Забрав секретный пакет, лётчик на своём истребителе взлетел. Поднялся в воздух и обратно же, ровно через восемьдесят минут и без происшествий приземлился на своём аэродроме. А теперь, слушайте, ребятки, вопрос. Внимание, ребятки. Вопрос. Почему самолёт лётчика-истребителя в город летел целый час и двадцать минут, а из города вернулся всего за восемьдесят минут?

Вот это задачка! И действительно, почему это так? Туда целый час и двадцать минут пилил, а оттуда прилетел всего за каких-то восемьдесят минут. Есть от чего свою репу почесать. В классе установилась полная тишина. Даже мне теперь стало не до лапты. Первым не выдержал Иван Слепухов из Батрака [108]. Он всегда так. Сидит, сидит, а потом, как ляпнет что-нибудь ни к селу, ни к городу. Потянул свою руку кверху. Мне хорошо видно, как от нетерпения трясутся его чернильные пальцы. Инспектор замечает поднятую руку и кивает Ивану. Тот тут же подхватывается со своей парты и чётко, на весь класс, говорит [109].

- В город наш истребитель летел на ветер, а из города из-под ветра. На ветер лететь тяжелее. Вот он и летел туда дольше.

Инспектор и Матвей Данилович улыбаются. Инспектор говорит Ивану и нам.

- Я вам, ребятки, забыл сказать. Ветер дул тогда незначительный и он никак не мог повлиять на время обоих полётов. Думайте, ребятки, думайте.

Иван садится за парту. А мы и вправду все думаем. Думаем так, что, аж, слышно, как головы у многих трещат. Повторять пример Ивана никому не хочется. Неудачный пример. Наконец, меня осеняет. И я нехотя поднимаю вверх руку. Инспектор и Матвей Данилович оживляются. Чай, надоело уже ожидать. Они оба кивают мне головой и сглатывают волнительные комки. Их волнение невольно передаётся и мне. Потихоньку начинают одолевать сомнения. Но делать нечего, раз руку поднял, теперь надо подниматься.

- Задача ваша неправильная, - говорю я инспектору.

Тот, аж, подпрыгнул на стуле.

- Как это неправильная?

- А так. Неправильная и всё тут, - увидев ободряющую улыбку Матвея Даниловича, я уже продолжаю говорить инспектору смелее. - Какая разница, что один час и двадцать минут, что восемьдесят минут? Разницы никакой нет. Поэтому наш истребитель, что туда, что оттуда, пролетел за одинаковое время. Разве не так?

От неправильной задачи и от несправедливости у меня предательски начинают наворачиваться слёзы на глазах. Приходит на помощь Матвей Данилович.

- Так, Витя. Так, - говорит он мне ласково [110].

- Всё верно, молодой человек, - соглашается с нами и строгий инспектор [111]. - Всё верно. Как фамилия этого молодого человека? - спрашивает он у Матвея Даниловича.

Матвей Данилович называет мою фамилию, и инспектор записывает её в свой блокнот. Раздаётся звонок. И мы все облегчённо вздыхаем.

Арифметику я очень любил. Это так. Но всё же не она была моим самым любимым предметом. Из всех предметов больше всего я любил пение. Кажется странным такая любовь, не правда ли? Однако ничего странного в этом нет. Не один я больше всего любил пение. Почитай, все его больше всего и любили. Да и как не любить-то, когда на урок пения Матвей Данилович приносил дивное диво с названием - патефон. Он приносил его из учительской и ставил на край стола. После чего, открывал крышку и доставал изнутри пластинку. Их там лежало несколько. С великой осторожностью он её чистой тряпочкой протирал. И вставлял её в патефон. Затем учитель крутил патефонную ручку. Поворачивал на пластинку трубку с иглой на конце. И...

Лилась музыка.

Слушая, мы все замирали. Ни у кого не было такого патефонного чуда. «Жили у бабуси два весёлых гуся. Один серый, другой белый - два весёлых гуся» - лилось нежно из патефона. Слушали мы и другие песни. А потом, подражая патефону, и сами пели.

Не любил я рисовать, лепить из пластилина [112] и с первого класса, не любил считать на палочках и счётах. По рисованию Матвей Данилович хоть и поставил мне пятёрку, но на такую оценку я не тянул. Теперь вот, каюсь! Чего Бог не дал, того не дал. Во всяком случае, моё изобразительное искусство мне и самому никогда не нравилось. Единственное, что мне очень похоже удавалось нарисовать, это птиц. Птиц я рисовал быстро и мог их нарисовать сколько угодно много, хоть целую стаю. Не знаю. Неужто отличную оценку учитель поставил мне за одних только птиц?

На лепку из пластилина не хватало терпения. А с палочками и счётами я не дружил из-за их примитивности. Мне легче было посчитать в уме, чем возиться с палочками или костяшками. Вдобавок ещё ко всему, палочки я постоянно терял или ломал. И тогда приходилось их делать на перемене, из чего ни придётся. Матвею Даниловичу такие «быстрые» палочки не нравились, и он часто снижал мне оценки.

Читать мы научились по азбуке. Буква по букве выучили алфавит. Приставляли букву к букве и получался слог. А слог к слогу, получалось слово. Интересно! Потом стали составлять предложения. И попутно учились писать. Предмет назывался - «Чистописание». Шариковых ручек тогда не было и в помине. Писали перьевыми. Помню названия перьев: «звёздочка», «пионер»...

Одного учебного года хватило на овладение грамотой. Как только я научился читать, тут же меня захватила страсть к чтению. Да, ещё, как захватила! Страсть началась со сказок. Как таковую, библиотеку наша начальная школа не имела. Но в учительской комнате стоял шкаф с детскими книгами. Оттуда я, поначалу и «черпал» их для утоления своей страсти. Когда все перечитал, по ходатайству, всё того же, Матвея Даниловича, меня записали во взрослую бригадную библиотеку. Имелась и такая. Теперь, увы, уже нет [113].

Книжный мир захватил меня полностью. Он мне казался лучше и чище настоящего. Ещё



бы! «По щучьему велению, по моему хотению...» и... на тебе Емеля, чего душе угодно. Как тут не позавидуешь и не отвлечёшься от этого мира? Поймать бы себе такую шуку или золотую рыбку. Емеля, тот ещё, куда ни шло, а старику так и вовсе ничего не досталось от того улова. Старуха себе всё заграбастала. Пожадничала, а после так и осталась у своего разбитого корыта.

Сказок написано много. Но, где их мне было достать? Достать негде. На месте же я не стоял. Я рос. И с помощью взрослой библиотеки, постепенно перешёл к чтению других уже книг. От мира сказочного меня бросило в мир путешествий и приключений. Отважные пираты, благородные рыцари. Шторма и турниры. Погони и страшные тайны. И, наконец, долгожданная победа добра над злом. Как же от всего этого оторваться? Иной раз, зачитывался сутками, до крови из носа. Мать и бабушка не справлялись. Приходилось вмешиваться отцу. И только тогда я, выданный за уши отцом, отрывался от интересной книги.

А фантастика!?

Она так вскружила мне голову, что ради прочтения только одной фантастической книги я мог пожертвовать всем, чем угодно. И жертвовал. То, коров за кого-то стерёг. То, выворачивал наизнанку карманы [114] или делал без очереди самопалы [115]. То, ещё чего-то там делал. Книжная страсть, она сродни и любой страсти. Хотя бы даже страсти и наркотической.

Забегая вперёд, скажу, что книги сослужили мне добрую службу. Не живи я книжными примерами благородных героев и, не понимай книжных границ хорошего и плохого – добра и зла, Бог весть, куда бы меня завела шальная мирская тропинка.

В Бога, поначалу, я веровал. И веровал крепко. И крестик нательный тоже, поначалу, носил. Искра Божья во мне горела, как и у всех. Только некому Ту искру было поддерживать. А самому-то, как устоять? Когда вокруг сплошная советчина и сплошное безбожие. Да и дитя, ведь, ещё. Бога я не забывал. Бога как позабудешь. И страх Его во мне жил. Но сила веры стала ослабевать...

Никого не виню.

Сам во всём виноват.

Так же и с нательным крестиком. Поначалу у бабушки много их было. И в первый класс она мне тоже крестик навесила. Крестики носить мне нравилось. Особенно нравился Бог на кресте. Но я, то подерусь с кем, то поборюсь. В пылу драки или борьбы, не замечу порванной тесёмочки и крестик свой потеряю. Бабушка потом опять мне навесит. Я возьму и опять его потеряю. На каждый день разве крестиков напасёшься? Однажды потерял прямо на уроке физкультуры. Матвей Данилович мою потерю заметил. Крестик тихонько поднял и ничего мне о том не сказал. Уже потом, в старших классах, бабушка Анастасия, по большому секрету, мне рассказала, что он приходил к нам домой. Отдал бабушке крестик и дабы не подводить моего отца [116], строго настрого приказал ей больше крестик на меня не навешивать.

В четвёртом классе в школу неожиданно [117] нагрянула медицинская комиссия. Случилось это событие ранней осенью, когда мы ещё только, только осваивались с новыми учебниками. К тому времени в Нижне-Гусынской начальной школе обучалось восемьдесят учеников. Двадцать восемь в третьем классе, и по двадцать в первом классе и во втором. А в нашем, теперь уже четвёртом, так и оставалось двенадцать. Восемьдесят учеников – цифра приличная. Поэтому, взрослые люди в белых халатах с нами особенно не церемонились. Наскоро переговорив с директором и учительницами, они сразу же приступили к своим обязанностям. Проверяли на вшивость, слух, зрение, зубы. Вот, пожалуй и всё.

Да, едва не забыл, проверяли ещё на чесотку.

При этой проверке у меня и обнаружилось слабое зрение правого глаза. Помню, окулист долго крутила мою голову в разные стороны, всё, разглядывая правый глаз. И так повернёт и этак. От напряжения я, аж, вспотел весь. Наконец, она разглядывать перестала, что-то спросила и выписала рецепт на очки. Диагноз она поставила верный. И носи я с четвёртого класса очки, глядишь, зрение бы и поправилось. Я и носил. Вот только носил с перерывами и весьма малое время. Стекло для правого глаза оказалось не таким простым. Через знакомых,

отец его заказывал в Харькове.

Бывало, привезут из Харькова очки. Я их поношу, поношу. А потом потеряю или сломаю. Непоседа же был страшный! Дома ни зимой, ни летом не сидел. То футбол, то хоккей. То взятие снежных крепостей. То катание ранней весной по реке на льдинах. И если бы просто катание! Что вы! Просто кататься на льдинах по реке не так интересно. Давай устраивать на льдинах тараны. Какие уж там очки. Несколько раз я их, то терял, то ломал, то тонул вместе с ними на льдинах. Родители если и думали, то больше не об очках, а, скорей обо мне. А потом, к моей радости, они и вовсе об очках позабыли [118].

Четыре года учёбы прошли. И не скажу, что прошли незаметно. Начальная школа оставила в моей душе глубокие впечатления, а вместе с ними и самые яркие воспоминания. Закончил я её с похвальной грамотой и со всеми пятёрками. И осенью поступил в пятый класс Журавской восьмилетней школы. Отвёл нас туда Матвей Данилович. И оставил на следующие четыре года. Оставил-то, оставил. Только вот, кому оставил? Этот вопрос и до сей поры, не даёт мне покоя.

Журавская восьмилетняя школа находилась в четырёх километрах от дома. Идти туда надо было по хуторским дорогам. Через мост. И дальше по кряжу, всё той же, Среднерусской возвышенности. Донецкая Сеймица делит кряжи на правый и левый. Тот, что повыше – правый. А на том, что стоит село Журавка и школа – левый. Журавский много ниже будет. Дорога, по которой мы ходили в школу, дальше раздваивалась. Один её конец, мимо колхозного тока, уходил на село, а другой [119] в районный центр – Прохоровку.

Если в начальной школе нас учил один Матвей Данилович, то в восьмилетней школе каждый предмет вёл уже отдельный учитель [120]. Из шестнадцати учителей половина была учителя-мужчины. Из них шестеро – офицеры запаса, прошедшие войну. После войны прошло уже более двадцати лет. Однако память о ней тогда ещё сохранялась не только нашими военными трофеями-находками [121], но и рассказами бывших фронтовиков и горем вдов, и сирот, встречавшихся на каждом шагу.

Восьмилетняя школа располагала тремя учебными зданиями и по количеству учеников, примерно, в три раза превосходила нашу начальную школу. В один класс мы уже все не входили. Поэтому нас разделили на два пятых – «А» и «Б». По два потока имелось и в остальных классах. По давней традиции, мы попали в пятый класс «Б». Нашим классным руководителем назначили учителя по физкультуре – Дмитрия Степановича Костюкова. Как и Матвей Данилович, с войны он вернулся старшим лейтенантом. Но, в отличие от нашего учителя, или моего отца, Дмитрий Степанович о войне любил поговорить. И не просто поговорить. Куда там! Разговор о войне для Дмитрия Степановича стал давно самой настоящей страстью. Каждый день он оставлял нас после уроков и голодным, по два и по три часа, всё рассказывал об этой проклятой войне.

Будь она трижды неладна!

Позднее мне как-то пришла в голову мысль, что из всех мне знакомых офицеров-фронтовиков, почему-то никто из них не работал на рядовой должности. Будь-то в колхозе по наряду с вилами или где-то ещё. Все куда-то пристроились. Нашли себе тёпленькие местечки и пристроились. Кто в школу, как Дмитрий Степанович и иже с ним, кто в колхозную контору, а кто выбился и в председатели. Школа, конечно же, была не самым плохим местом обитания. И денежки, и дровишки с угольком. Обратно же, почёт и уважение хуторян. А главное, что всегда ты ходишь чистенький и сам себе в распоряжении, что по времени, что на уме.

С таким количеством школьников совладать одними только гуманными педагогическими приёмами трудно. Это понятно. По нехватке времени и колхозной забитости, родители нас распустили. Однако же, полагаю, методы школьного воспитания применялись к нам слишком жёсткие (а то и жестокие) и несправедливые.

Посудите сами.

Особенно ретивых и балованных учеников учителя-фронтовики отлавливали и, как какую опасную и мерзкую дичь, по одному, заводили к директору школы [122]. Там провинившегося

бедолагу нещадно пороли. И пороли так, что крики несчастного ученика разносились далеко по всей школе. Эти крики резали наши детские души, заставляя сердца бояться и трепетать. На одной порке экзекуция не заканчивалась. После неё, школьника ещё насильно остригали налысо и лишь после этого выпускали на свободу. Такая система воспитания мне с первых дней понравилась. Да и кому она могла понравиться? И что это за школа такая? Когда ходишь в неё за тридевять земель и всё время боишься, как бы тебя случайно не выдрали, а потом ещё и не остригли налысо.

В моей душе постепенно назревал протест. И он всё ближе, и ближе (обратно же, говоря современным языком) приближал меня к школьной оппозиции. Самые отчаянные и балованные ребята мне стали казаться примером для подражания. Несмотря на мой малый возраст и всего лишь пятый класс, авторитет председательского сына, всё же, выделял меня из среды своих сверстников. Он и сыграл свою отрицательную роль. Старшие «плохие» ребята быстро со мной подружились. И вскоре я стал одним из них, то есть тоже «плохим». Уроки я вскоре забросил и ходил в школу только для вида.

В шестом классе произошло печальное событие, оставившее в моём сердце неизгладимый след. Мы убежали из школы. Целый день нас ловили отставные старлеи и капитаны. И после всю неделю искала милиция. Учителя не поймали. И милиция нас не нашла. В школу вернулись мы сами. За этот проступок отец меня очень сильно побил и на долгие годы отчуждил себя от меня [123].

Класс наш слыл дружным. Так оно и было на самом деле. Шестнадцать мальчиков и девять девочек. Как-то так получилось, что, будучи собраны из разных начальных школ, мы не только очень сдружились, но и почувствовали себя одной большой и неделимой семьёй. Учились по-разному. Кто лучше, кто хуже. Но оценки на наши отношения не влияли. Жили без ябед и павликов морозовых, что очень злило директора, и всех остальных его злобных помощников.

Если старлеев и капитанов с указками мы боялись и ненавидели, то к учительницам относились иначе. Многие из них были за нами же замужем. И мы им в этом сочувствовали. В отличие от мужей-фронтовиков, предмет свой они знали хорошо. И не просто знали, но, своей теплотой и женской, материнской любовью [124], старались, хоть как-то, компенсировать издержки столь жёсткого мужского воспитания [125]. Ради этих учительниц, я и не забросил учебники. А, признаться, руки всё время чесались.

И до сей поры, я с великой любовью вспоминаю Анну Гавриловну Заболотскую – учительницу русского языка и литературы – жену директора школы. Она меня не только научила без ошибок писать и привила любовь к русской литературе, но однажды спасла жизнь, вырвав её из рук мужа-деспота. Может быть и не следует об этом эпизоде рассказывать, но я всё ж таки, прости Господи, расскажу.

Случилось это в восьмом классе.

В параллельном классе учился один мальчик, который очень хорошо рисовал. Просто здорово рисовал. Сейчас уже не помню фамилию мальчика. Помню, что звали его Толиком и дразнили - «Герой». Его картины часто вывешивались на стенке в среднем здании школы. Так вот, однажды, после уроков, мы и зашли посмотреть на эти самые картины. В здании никого. Полы чисто вымыты. Кругом тишина и покой. Посмотрели мы на Толиковы картины. Потолкались туда-сюда. И нет бы, да и идти домой. Путь-то не близкий. Так, нет же. Зачем-то запёрлись в пустой класс. В классе тоже чисто и хорошо. Только посреди класса кто-то, ещё до нашего прихода, перевернул урну с мусором. Я не придал этому никакого значения. Ну, перевернул и перевернул. Эка, невидаль. Да, забыл сказать, что дело происходило зимой.

И вдруг, кто в страхе, протяжно-предупредительно крикнул.

- Зо-о-б!!! [126]

Мои приятели сыпанули в разные стороны. Не успел я оглянуться, как их и след простыл. Я вышел из класса и увидел, как туда вошёл директор школы – Алексей Иванович Заболотский. Когда я уже спускался с крыльца, Алексей Иванович меня догнал и, схватив обеими руками за отвороты пальтишка, начал душить и что есть мочи трясти. Я так ничего и не понял. Да и не до

пониманий мне было. Перед моими глазами маячило перекошенное страшной злобой лицо директора. Глаза его от бешенства выкатились на лоб, а в уголках рта показалась жёлтая пена. Пена, то последнее, что мне и запомнилось. Сознание стало меркнуть. Я уже ничего не видел и не ощущал. Но слух ещё функционировал.

Ухо и уловило.

- Лёша, отпусти! Лёша, это не он! Прошу тебя, Лёшенька! Отпусти!

Это Анна Гавриловна, увидев, как её муж расправляется со мной на крыльце, оставила урок литературы и выбежала на улицу в тонкой кофточке. И как оказалось, вовремя подросла. Задержись она на минутку с одеванием верхней одежды, было бы уже поздно. Директор пришёл в себя. Послушался Анны Гавриловны и меня отпустил. Я свалился на крыльцо и тут же потерял сознание. Когда Анна Гавриловна привела меня снегом в чувство, директора школы уже поблизости не было.

С улыбкой и доброй памятью вспоминаю, и Марию Тарасовну Легезину - учительницу географии, анатомии и физиологии человека. Если Анну Гавриловну Заболотскую с полным правом можно было назвать русской красавицей, то Мария Тарасовна отличалась не столько красотой, сколько своей женственностью, любопытством и своим увлечением, порой доходящим до навязчивой страсти. О женственности и любопытстве Марии Тарасовны распространяться, пожалуй, не следует, а вот о её увлечении надо сказать. Со стороны оно выглядело смешным и даже забавным.

Как только Мария Тарасовна садилась за учительский стол и открывала классный журнал, первым делом, она вызывала кого-нибудь из нас к доске, а после доставала из старого портфеля свой объёмный и уже достаточно потёртый кошелёк. Кошелёк с нежностью раскрывала и высыпала из него кучу мелочи на журнал. После чего, принималась с увлечением пересчитывать копейки и двушки.

Я сидел напротив, у учительского стола и мне прекрасно было видно, с каким азартом и увлечением она это делает. Отвлекалась она только тогда, когда, отвечающий у доски ученик замолкал. Тогда она ставила ему дежурную оценку и вызывала к доске следующего. После чего продолжала своё любимое занятие. Мы все привыкли к счёту и пересчёту её мелочи. Считает, ну и пускай себе считает. Кому она этим мешает? Иной раз, Мария Тарасовна и меня увлекала. Сижу, смотрю и вместе с Марией Тарасовной, пересчитываю её копейки. Больше-то делать нечего. Не будешь же слушать Любку Черкашину или Витьку Москалёва.

Первым Мария Тарасовна всегда вызывала Петьку Кононова. Бывало, откроет журнал, смотрит в него и говорит.

- Так. К доске пойдёт отвечать, Петя Кононов.

Петька встаёт и отвечает.

- Я не знаю, Мария Тарасовна.

- Ага, - говорит учительница. - Не знаешь. Ну, что ж, садись. Ставлю тебе кол.

И столько понаставила ему колов и двоек, что Петьку уже за них и отец порол, и Дмитрий Степанович грозился директорским кабинетом. С Петькой я дружил с первого класса. Он жил поближе к Журавской школе и всегда меня ожидал на дороге, чтобы вместе идти по пути. И со школы мы с ним всё время ходили вместе. Жалко мне его было. Порят ни за что, ни про что. Ладно бы там пороли за алгебру или геометрию, а то порят за какую-то там географию. Лёгкий же предмет. Да и Мария Тарасовна никого и никогда не слушает. Выходи и говори, что хочешь. По дороге из школы я ему об этом и сказал.

- А, что ей буду говорить? - отвечает мне Петька.

- Ты же охотник, - говорю ему. - Рассказывай нам про охоту или еще, про что. Какая тебе разница? Только не говори ей, что не знаешь. Выходи смело к доске и говори.

- Ладно, - говорит Петька. - Попробую.

И вот наступило время урока географии. Мария Тарасовна зашла в класс. Мы встали. Она поздоровалась. Мы ответили. Она села на стул. Открыла классный журнал. Поводила по странице пальцем. Потом оторвалась от журнала и говорит.

- Так. К доске пойдёт отвечать, Петя Кононов.

Я смотрю, она уже по привычке потянулась ручкой в журнал, чтобы ставить Петьке очередной кол или двойку. Но, не тут-то было. Петька выходит из-за парты и идёт к доске. Эксперимент наш начинается. Мария Тарасовна удивлённо смотрит на Петьку, а секунду спустя, достаёт из портфеля свой знаменитый кошелёк. Его трепетно открывает и высыпает мелочь на журнал. Этот мир для неё прерывается. Петька же подходит к карте. Берёт указку и, подставив ладонь ко рту, тихо мне шепчет.

- Что задавали?

- Австралия, - так же тихо шепчу я ему.

Где она, эта Австралия? Я-то знаю. А Петька нет. Он переспрашивает.

- Где она?

- Жёлтая, - навожу его цветом на цель.

Петька смотрит на меня и тычет указкой в Африку. Я кручу головой. Не то, мол. Жёлтой остаётся на карте одна лишь Австралия. Петька не дурак, быстро соображает и тычет, с вопросом ко мне, в Австралию. Я киваю головой. Верно, мол, в точку попал. После чего он громко на весь класс говорит.

- Австралия!!!

Так громко, что, аж, Мария Тарасовна отрывается от счёта мелочи и с удивлением смотрит на Петькину указку, которая скрупулёзно и без спешки обводит Австралию. Чего её там обводить, когда рядом нет других государств. Но Петька не спешит и обводит тщательно. Видит, что смотрит Мария Тарасовна. Смотрит она не долго. Вскоре снова возвращается к копейкам и двушкам. А Петька начинает рассказывать. Своим рассказом он увлекает весь класс. Да и как нам не увлечься-то, когда вместо рассказа о далёкой и сто лет нам не нужной Австралии, он рассказывает, как в это воскресенье ходил с отцом на охоту. На зайцев. Петька классный рассказчик. Если разговорится, заслушаешься. В этот раз, он превзошёл самого себя.

Петька рассказывает, а Мария Тарасовна всё считает свои деньги. Петька знает, что умолкать нельзя. После охотничьих рассказов, он обратился к теме урока, то есть к Австралии. Начал речки перевирать в водостоки. Зачем-то стал говорить и показывать, какие там строят большие дома. Я уже стал не выдерживать. Вот, вот не выдержу и прысну со смеху. Пока еле, еле держусь. Не выдержал я тогда, когда он стал рассказывать о пустынях Австралии. Цвет-то жёлтый. А Петька знает, что жёлтый цвет, это цвет пустынь. И он угадал. В Австралии и, правда, много пустынных территорий.

- В Австралии очень много пустынь, - говорит уверенно Петька. - В пустынях водятся верблюды. В пустынях часто бывают песчаные бури. Когда бывают песчаные бури, то верблюды становятся на задние лапы и передними закрывают глаза.

После того, как он показывает, как верблюды передними лапами закрывают глаза, я уже не выдерживаю и на весь класс громко хохочу.

Мария Тарасовна отрывается от мелочи и с упрёком на меня смотрит. Как же прервал её любимое занятие. С большим трудом, но я давлу в себе желание смеяться дальше. Не хочется подводить Петьку. После моего мнимого успокоения, она поворачивается к доске и спрашивает моего приятеля.

- Всё, Кононов?

- Всё, Мария Тарасовна, - отвечает Петька.

- Ну, вот видишь. Можешь же учить. Я и знала, что можешь. Поставила бы тебе четвёрку, да у тебя тут одни двойки, да колы. Ладно, садись. Три.

Петька довольный садится на своё место.

О Марии Тарасовне писать можно долго. Только всего не опишешь.

Алгебре и геометрии учила нас Мария Степановна Беляева. Муж у неё сильно пил. И часто ей было совсем не до школы. Предмет она знала блестяще. Теорем по геометрии я никогда не учил. Бывало, спросит меня теорему, а я и не знаю. Поставит кол в журнал. После объяснения

новой темы, задаст нам геометрическую задачку. Да не просто так задаст, а с условием – кто первым решит тому поставит пятёрку. Первым всегда почему-то решал я. Рядом с колом, Мария Степановна тут же ставит пятёрку.

Однажды, Дмитрий Степанович, оставил нас после уроков, чтобы рассказывать свои военные сказки, заглянул для порядка в журнал и спрашивает меня.

- А, что это у тебя, Балабанов, за отметки такие по геометрии? В каждой клеточке стоит по пятнадцать. Отродясь таких отметок не видывал.

Пришлось объяснить ему, что и по чём. Пострадал он меня для приличия, но так это дело и оставил. Ко мне классный руководитель относился по-взрослому [127], а то и с некоторым уважением. Но не из-за инвалида-отца. Что инвалидность? Таких инвалидов в округе много. Уважение от Дмитрия Степановича мне перепало из-за отцовской должности.

Много наших хуторян побило и покалечило на советско-германской войне [128]. Но Дмитрий Степанович, как-то, не пострадал, хотя взахлёб всё о ней и рассказывал. По моим родным весям уцелели, всё больше, дезертиры, полицаи, кто вернулся из немецкого плена или же те, кто, как и Дмитрий Степанович, выбились в офицеры и захватили войну в самом её конце, да и то стороной [129].

С Лёником Ждановым я сидел за одной партой с первого класса и по четвёртый. А в Журавской школе меня посадили вместе с Иваном Крюковым. Как так получилось и почему, теперь я уже точно не помню. Из-за нашего роста, что ли? Иван ходил в школу из хутора Скоровка, что километрах в пяти от Журавки. С ним мы быстро подружились. И другом он стал настоящим. Вместе с ним мы мечтали быть лётчиками, а потом и космонавтами, чтобы лететь, куда подальше на освоение космоса [130].

Вначале мы с ним сидели на задней парте. А после, из-за баловства, нас пересадили на первую, рядом с учительским столом. У каждого места есть свои преимущества. Извлекали мы его и сидя на первой парте. И так к нему привыкли, что другого нам и не надо.

В Журавской школе учеников постоянно обыскивали. Обыскать могли, где угодно и когда угодно. До уроков. После уроков. На маленькой перемене. По дороге домой или в школу. Чаше же всего нас обыскивали на большой перемене. Обычно это происходило так.

После звонка девочек отпускали, а всех мальчиков оставляли в классе. Двери плотно закрывались. Раздавалась команда. И мы выстраивались в одну шеренгу у доски. Всё лишнее предлагалось добровольно сдать. Что-то мы и сдавали. После чего [131], учителя-фронтвики приступали к обыску. Нас обыскивали почти каждый день и часто по несколько раз. Но, как фронтвики ни старались, наши арсеналы не уменьшались. Отобранные рогатки, духовые трубочки, стреляльные резинки, гороховые пистолеты, а то и самые настоящие самопалы относились в учительскую. А на следующий день [132] наши карманы наполнялись всё тем же. И так изо дня в день. Случалось, что при обысках отымались вещи и посерьёзнее – сигареты там или же ржавые [133] военные трофеи – в виде патронов, артиллерийского пороха и прочего армейского добра, оставшегося от прошедшей войны. За такие вещи следовало уже особое и неотвратимое наказание.

Первым делом допрос, а потом и порка со стрижкой налысо [134].

Однако не всегда обыски заканчивались даже и так. В нашем классе случилось одно событие, потрясшее школу не в переносном, а в прямом смысле.

Вовка Ключков притащил из дома пачку сырого дымного пороха. Где он его взял, так и осталось тайной, да и не о том речь. Вовка жил в Скоровке, а оттуда можно было притащить и не такое [135]. Прохоровка от них отстояла уже не так далеко. Притащил пачку сырого пороха, ну и положил его подсушить на печку. Сырым-то порохом, что делать? Не на раскалённую плиту положил, а на кирпичи горячие. О пачке той мы тут же забыли. Не до пороха. На переменках баловались. Бегали по классу, как оглашенные. И кто-то зацепил эту пачку. Она и передвинулась на плиту.

А мы не заметили.

На большой перемене в класс с обыском зашли Алексей Иванович Заболотский – директор

школы и Дмитрий Степанович Костюков – наш классный руководитель. Девочек они выпустили. И успели закрыть двери. Хорошо ещё, что не успели нас у доски построить...

Директор и наш классный стали посередине класса. Директор уже рот открыл, чтобы давать команду на построение. Армия, видите ли, ему здесь померещилась. Армия, так армия. Рот открыл. И тут, как рвануло. Кирпичи. Дым. Стёкла вдребезги. Грохот такой, что, аж, уши у всех заложило. И ничего не видно. В пустые окна дым быстро густой потянуло. Смотрим. А Алексей Иванович и Дмитрий Степанович из класса по-пластунски вдвоём выползают. В кровяни, в пыли и кирпичными осколками побитые все. А нам хоть бы хны. Даже никого и не поцарапало. Они, правда, тоже в один день оклемались.

Так бы всё и ничего. Да и после этого случая обыскивать стали реже. Жаль только, что Вовку Клочкова из школы выгнали.

Будто он один во всём виноват.

Как бы там ни было, но всё же нельзя сказать, что посещение восьмилетней школы ничего хорошего мне не давало. Что-то полезное падало и во мне оставалось. Да и о нашем дружном классе я уже упоминал. Разве дружба ничего не стоит? И страсть моя к художественному чтению не уменьшилась. Она-то и послужила тем самым предметом воспитания, который легко отвлекал от улицы, заставляя жить и набираться опыта не только на тёмной её стороне. Только, если раньше мне приходилось читать всё интересное, что попадалось под руку, то теперь я увлёкся чтением иностранной литературы. Об избирательности или целенаправленности речи не идёт. До них мне ещё было далеко. Просто, в чтении иностранной литературы, я легче находил для себя самые захватывающие и интересные исторические, и приключенческие темы.

Рядом со школой стоял Журавский дом культуры, располагавший очень хорошей библиотекой. Пожалуй, лучшей библиотекой из всех тех, что потом встретились на моём пути. В ней я и открыл для себя мир: Джека Лондона, Вальтера Скота, Виктора Гюго, Александра Дюма, Фенимора Купера, Артура Конан Дойля, Жюль Верна, Мигель де Сервантеса, Проспера Мериме, Шарля де Костера, Майн Рида и многих других замечательных иностранных писателей.

Читать колхозникам некогда, поэтому столь дефицитные тогда книги в библиотеке стояли свободно. Бери и читай. Полюбил я и русскую литературу на уроках Анны Гавриловны. Тогда же у меня стали получаться и школьные сочинения. Историю тоже знал хорошо. А о географии уже и не говорю. По истории до шестого класса нас учил Матвей Иванович [136], а после – Алексей Иванович – директор школы.

Матвея Ивановича, за его постоянное «дескать», так и дразнили [137] «дескатём». Человеком он был тихим и очень рассеянным. Тоже воевал. И довоевался до нештучных капитанских чинов. Анна Максимовна – его жена, учила в параллельных «А» классах по русскому языку и литературе. В отличие от своего мужа – Матвея Ивановича, она отличалась сильным характером, и очень высокой требовательностью. Нас она не учила, но эти её качества были хорошо известны и нам.

Матвей Иванович прекрасно знал историю и интересно её рассказывал. Но его никто и никогда не слушал. Уроки истории всегда для нас были большой отдушиной. На уроках Матвея Ивановича можно было набаловаться сколько душе угодно. В пятом классе, на самом первом уроке истории, я его очень удивил, высказав сомнения по поводу достоверности исторической науки.

Мне казалось, что история больше врёт [138], чем говорит правду. Особенно мне не нравилось то, как она убеждает нас о фактах жизни древнего человека. Не нравилась и историческая человеческая цепочка, когда в одном ряду, начиная с приматов, друг за другом идут, якобы, наши предки. Эти свои сомнения я тогда и высказал Матвею Ивановичу, чем привёл его, сначала в растерянность, а потом и в полное недоумение. Он не ожидал такой резкой критики своего предмета и был не готов к его защите. Меня он запомнил и почему-то никогда не спрашивал, ставя заочные пятёрки в классный журнал. Справедливости ради, надо

отметить, что в отличие от других уроков, на уроках истории я вёл себя хорошо [139] и знал её действительно на пятёрку.

Директор школы – Алексей Иванович Заболотский – владел предметом истории не хуже Матвея Ивановича и на его уроках, конечно же, никто не баловался и не шумел, но рассказывал он уже не так интересно, как Матвей Иванович. Его слушали, слушал и я, куда же деваться. Но в лице директора, как учителя истории, мы, всё же, больше потеряли, чем приобрели. Алексей Иванович меня спрашивал и ставил почти всегда пятёрки. Моих вопросов он опасался. Я их ему задавал редко. Но, уж, если задавал, так задавал. Иногда его жёсткость превращалась в жестокость. Он выходил из себя и мог нерадивого ученика наказать прямо в классе, при девочках. Случались у него и ошибки.

Но за них он никогда не извинялся [140].

Бога в восьмилетней школе отрицали уже гораздо заметнее, чем в начальной. За ношение крестика могли не только выпороть, но и прилюдно прочитать атеистическую лекцию, высмеять и пристыдить. И мне неизвестен ни один случай, когда, после такого богоборческого мероприятия, кто-нибудь отваживался носить крестик и дальше. О Боге мне напоминали одни лишь кресты на кладбище, да бабушкины ночные и утренние молитвы. Ещё напоминали иконы в старой хате [141].

По поводу ношения крестика припомнился один случай. Хотя, он и не имеет прямого отношения к школе, однако, дабы после не истошилось из памяти, так и быть, расскажу.

На зимних каникулах мамка собрала в узелок пол-литровую бутылку [142] самогонки, кусок сала, краюху хлеба, пару луковиц, дала рубль и со всем этим богатством отправила меня в кузницу. Отправила с тем наказом, чтобы наш бригадный кузнец – дед Ефрем изготовил ей из косы ножик [143]. Учился я в седьмом классе, поэтому мамкино поручение показалось мне лёгким.

Деда Ефрема я знаю давно. Познакомился с ним, когда ещё ходил в начальную школу. Бывало, иду мимо кузницы, нет, нет, да и загляну в приоткрытую дверь. Нравилось мне очень смотреть, как он лихо управляет с раскалённым железом на наковальне. Дед Ефрем – человек строгий и близко не то, что к наковальне, но и к дверям никого [144] не подпускал. А так, издали, смотри, сколько хочешь. Ему не жалко.

Кузнецом он считался непревзойдённым. Телом был сильным [145]. Со строгим характером и с малоразговорчивым языком. Последним моментом он особенно отличался от многих наших хуторских мужиков. Мне же он казался даже угрюмым и нелюдимым.

Ещё на подходе к кузне, я увидел, как дед Ефрем подковывает бригадирского рысака. Рядом с дедом крутится его молотобоец. А немного поодаль стоят два бригадных плотника вместе с самим бригадиром. Курят и о чём-то разговаривают. Моё любопытство пересилило всё остальное. И я, подойдя поближе, остановился в десяти шагах от деда и рысака.

Дед Ефрем уже заканчивает ковку. Но, всё равно, чуточку интересного зрелища перепадает и мне. Жеребец стоит, как вкопанный. Красавец. И ещё бы ему не стоять. У деда Ефрема не вырвешься. И не побалуешь. Только пар из ноздрей свищет, как у паровоза. Левую переднюю ногу рысака кузнец загнул и зажал её между своих колен. Чистит широким напильником ему копыто. Видно, как жеребцу это нравится. Почистив, дед, не глядя, отдаёт напильник молотобойцу – дядьке Филиппу и прилаживает на копыто подкову. Подкова новая с синевой поволокой. Новые подковы все такие синюшные. Приложив подкову, как следует, он, по одному, выбирает из своих губ зажатые гвозди и вбивает их смачно в подкову.

Загляденье!

Потом плотники запрягают рысака в бригадирские сани. И когда бригадир отъезжает от кузни, дед Ефрем мне хмуро кивает и сипло так спрашивает.

- Чего припёрся?

Как будто сам не видит чего. В кузню с узелками без дела не ходят. Да ещё и бутылка наглядно торчит.

- Мамка послала, - отвечаю я мирно. - Ножик просила сработать косной.



- А в узелке-то чего? – хитро сипит дед.

- Чего, чего, - передразниваю его. – Это тебе, за работу и рубль ещё, вот.

Я достаю из кармана бумажный рубль и вместе с узелком передаю его деду. Дед берёт, развязывает узелок и заглядывает внутрь. А после довольный спрашивает снова.

- Пустую-то бутылку вернуть?

- А, как же, - я отвечаю.

- Тогда иди в плотницкую и там меня подожди.

Деваться мне некуда, иду, куда приказывают. Плотницкая мастерская примыкает вплотную к кузне. Там плотники зимой делают на телеги колёса, а летом лошадиные сани. Я смело захожу к плотникам и прямо с порога с ними здороваюсь. Здороваются со мной и они. Плотники – дядя Ваня Цыганков и дядя Лёша Гнедикив. Оба с хутора Нижняя Гусынка. И дядя Ваня, и дядя Лёша – уже изрядно выпивши. Видать, сегодня я не первый, пришедший за ножиком. Мне известно, что плотники с кузнецом, как и он с ними, по отдельности не выпивают. И с перепавшим по случаю магарычом [146], всегда делятся.

Значит и дед Ефрем, тоже выпивши.

А я и не заметил.

Немного погодя, в плотницкую заходит дед Ефрем и молча ставит на верстак мамкину бутылку. Рядом с нею он раскладывает на газетке уже порезанные хлеб, сало и луковицы. Дядя Ваня Цыганков выуживает из стружек гранёный стакан и дед Ефрем наливает в него самогонку. Потом стакан подаёт не ему, а дяде Лёше. Я наблюдаю со стороны и мне очень интересно. Чувствуется, что дед Ефрем тут за главного. Дядя Лёша быстро опрокидывает содержимое стакана в рот, после крикает и тянется рукой за салом и хлебом. Та же самая процедура повторяется и с дядей Ваней. После дяди Вани выпивает и сам кузнец. Закусывают хуторяне без спешки. Основательно так закусывают.

Закусив, дядя Ваня и дядя Лёша закручивают по сигарке, закуривают, а дед Ефрем отходит в сторону и грузно садится на свободный пенёк. Минуты две или три в плотницкой стоит полная тишина. Слышно только одно сопение мужиков, да их глубокие самосадные затажки.

- Ты Филиппа по делу послал? – нарушает тишину дядя Лёша.

- Без дела не посылаю, - с металлом в голосе, отвечает дед Ефрем.

- Тогда на сегодня шабашим, - подводит черту дядя Лёша.

Дед Ефрем согласительно кивает головой. Из их разговора я ничего толком не понимаю, потому становится ещё интересней.

- Слышь, Ефрем, - пьяно отзывается со своего места дядя Иван. – Ты бы, пока Филипп возвернётся, рассказал нам, как у фрау в плену жил.

- Ага, Ефрем, расскажи, - поддерживает приятеля и дядя Лёша.

Я сижу тихо и боюсь, чтобы не прогнали. Ножик, ножиком, а намечающийся рассказ в сто раз интересней ножика.

- Я же вам сколько раз уже рассказывал, - удивлённо роняет кузнец.

- Так, когда это было? А ты ещё расскажи. Слушать-то, о той жизни приятно, - не унимается дядя Иван. Теперь мне ещё лучше видно, что его больше всех развезло.

- Ладно, - соглашается дед Ефрем. – Расскажу. Только, если не будете перебивать. Ты, малец, домой не торопиться? – неожиданно спрашивает он меня.

Я усиленно кручу головой и сглатываю подступивший к горлу комок.

- Ну, тогда слушайте.

Дед Ефрем закрывает свои тяжёлые веки, потом их открывает и, глядя куда-то далеко, далеко вдаль, медленно начинает рассказывать:

«Наш стрелковый полк немцу сдался в полном составе. Начальство всё разбежалось, а без начальства мы, всё одно, что слепые. Окружили в поле на танках. Прокричали, сдавайтесь. Мы и сдались. А не сдайся, так перемололи бы в муку. Пару недель подержали нас на голодном пайку. И не одних нас только. Народу тогда поздавалось немцу уйма. Подержали, погрузили в

вагоны и отправили эшелонами в Германию.

Отвезли далеко, почти на самую западную германскую границу. Там выгрузили из вагонов. Отсортировали, кого, куда. Не знаю, кто там и куда попал. Нас же определили на сельскохозяйственные работы в поле. Дело шло к осени. И рабочие руки бауэры на ходу расхватывали. Но поработать вместе со всеми мне не пришлось. Приехала на двуколке фрау и по важной бумажке, выбрала меня к себе в работники. Выбирала она не абы, как и не с бухты-баракты. Выбирала по нательному крестик. Верующая попалась фрау. И так тогда получилось, что из всей нашей братии, крестик один я и носил.

Перстом на меня указала.

А через пару часов, мы и прикатили с нею в хозяйство. У нас таких хозяйств нет. Может, при царе у кого и было, а теперь нет. Дом двухэтажный кирпичный. А если, считая с подвалом, то и в три не вберёшь. В самом доме я присутствовать не сподобился, обличьем и чином не вышел, а вот в подвале приходилось бывать. Не подвал, а самый настоящий подземный дворец. Только холодный. Окорока развешаны на крючьях. Бочки винные у дальней стены. Вы таких бочек и отродясь не видали. Не видывал таких бочек и я. Лишнего не скажу. Справный дом и справное было хозяйство.

Конюшня каменная и под черепицу крытая. Коровья ферма такая же. И свиньи у ней тоже, прикормлены и пристроены, прости Господи, так, что не хуже, чем в нашей колхозной конторе начальство. Два трактора ещё с агрегатами и две немецких семьи в работниках. Землицы гектар двести. Земля не такая, как у нас. Землица холодная. Однако, ухоженная.

В конюшне в стойлах двенадцать лошадей. Поначалу они мне в труды и достались. Напоить, покормить, почистить там. Потом надо ещё их и выгулять. Работы на целый день. При здоровье оно бы ещё, куда ни шло. А так, какой из меня работник, если едва на ногах стою. Фрау не торопилась требовать от меня эту работу. Определила с жильём на сеновал и пару недель подкормила.

Дармоедничать я не привык.

Встану, бывало, в пять часов утра, а то и в четыре, когда вся немчура ещё спит. Пойду на конюшню. И до первого завтрака сделаю эту работу. Тогда днём мне уже малость полегче. Питался я вместе со всеми. На столе хлеба досыта. Омлет, сало, по-ихнему, шпиг. Масло коровье, сметана и молоко. Кофе ещё дымится. Кофе не пил. С собой мне дают бутерброды. Первый завтрак в девять часов утра. Второй в одиннадцать. А обед в два часа дня. Ужин в семь вечера. Между обедом и ужином, опять бутерброды с кофе или молоком. Распорядок строгий. И не приведи Бог его нарушать. Вы спросите, а когда же работать? Верно. К такому мы не привычны. Но я вскоре привык. Куда же деваться? Поправился быстро и привык. А через месяц или полтора и в силу вошёл. На таких-то харчах, грех не войти. Да, забыл сказать, в обед и на ужин свинины давали от пуза.

Ешь, не хочу.

Фрау звали - Марта. И у нас такие имена теперь водятся. Коров даже, кто называет. Марта - бабёнка справная. Муж у неё офицером на фронте, но в чинах небольших. Я работаю. И время тоже идёт. Думаю всё о домашних. Как они, думаю, там? По детям стал сильно скучать [147]. Однако думы, думами, а тело, оно своё берёт. И после сорок третьего года, стали мы жить с Мартою, как муж и жена. При мальце не скажу о начале. С чего и как оно всё начиналось. Дело это не хитрое. Да и раньше вы слышали. В дом она меня жить не пустила. Но с сеновала перевела. Стал ночевать я во флигеле.

Ну и понятное дело, что ночевать не один.

В сорок четвёртом прибыл на побывку её муж-офицер. После ранения его отпустили долечиваться. Прибыл-то, прибыл. И всё бы ничего. Да жена в положении. Ветром живот не надуешь. Виду интеллигентного. Стал он допытываться. То, да, сё. Кто? Допытался. А после пришёл ко мне пьяный и долго мутузил. Конечно, я мог задавить его одной левой рукой. Офицерик-то хлипкий. Задавил бы. Ну и что? А опосля, куда мне деваться? Он мутузит меня по мусалам [148], а я стою и терплю. Когда руку офицерик зашиб, то стал бить по груди. Тут

легче мне стало. Наконец, Гансик [149] выдохся, бросил.

И больше меня он не бил.

Пробыл он с месяц. Подлечился маленько. И снова на фронт. Верите. Перед отбывкой зашёл ко мне. Плачет. И просит прощения. Видать, чувствовал, бедолага, смерть и что больше сюда уже никогда не вернётся. И точно. Месяца через два получает Марта известие о его смерти. А в конце сорок четвёртого и сынишку она родила. Вот, так-то. Весной сорок пятого попали мы под английскую оккупацию. Мне уже невоготу. Тянет домой так, что терпеть нету мочи. Мучаюсь сам. И Марта мучается. Делать нечего. Надо решаться. Я и решился. Попрощался с сыном и Мартой, и к англичанам в гости. Так, мол и так, хочу в Россию. Они меня помуржили немного для порядка, да и переправили в советскую оккупационную зону. Там я, как было, всё и рассказал. Особисты покачали головой, покачали. Чудно им стало, как это я от жизни такой и в СССР.

Отпустили домой».

Дед Ефрем замолчал. Дядя Ваня почесал пятернёй затылок. Дядя Лёша тоже завертелся на пне. Всем хотелось деда о чём-то спросить. Но тут неожиданно появился в дверях хмельной и всем довольный дядька Филипп. Появился он не один, а с тяжёлой плетёной авоськой. На версту видно, как из авоськи торчит увесистая бутылка самогона и оттопыривается завернутая в чистую тряпицу закуска.

С таким богатством уже не до вопросов.

- Ты выдай мальцу ножик и пусть идёт, - приказал ему дед Ефрем. - Да, выбери, который получше. Или постой. Я сам выберу. Пошли со мной, - это дед уже мне.

Я вышел вслед за дедом и впервые переступил порог кузницы. В кузне пахнет горелым углём и горячим металлом. В нос лезет кисловатый угарный газ. Пару раз дыхнул, не выдержал и чихнул. В горне поблескивают ещё живые огоньки. А за горном висят сморщенные мехи. Вот бы потрогать и покачать воздух! Размечтался. Если и покачаю, то кто мне потом поверит.

Не обращая на меня внимания, дед Ефрем вытащил заначку с ножиками. Покопался в ней и из дюжины уже готовых ножей выбрал один.

Прежде чем его отдать спросил.

- А ты, малец, понял, что из моего рассказа?

Я пожал плечами и брякнул наобум.

- Понял, что у тебя сын в Германии остался.

Дед Ефрем поморщился, словно от зубной боли и тяжело вздохнув, произнёс.

- Это верно. Остался. Только не в ём одном суть. Сам помысли. Тут дело другое. Не будь у меня нательного крестика, Марта меня бы не выбрала. Так? Так. И как бы опосля сложилась моя судьба, оно ещё неизвестно. Может, давно бы и на свете не было. В крестике всё дело, малец. В крестике. А так пуще крестика, в Боге. Ладно, держи ножик и выматывайся отседова.

Ножик и, правда, он выдал мне классный [150]. Он потом долго мамке служил.

Родненькие мои!

На белом свете всё когда-то кончается. Жизнь земная подобна падению метеорита. Вот она блеснула и уже её нет. И потом выясняется, что ты так ничего и не успел. Даже толком её разглядеть. Так же и у меня. Прошли эти четыре окаянных года. Мелькнули быстрее метеорита. Очень тяжело они мне дались. Тёмный осадок придавил душу. А винить некого. Учителя, учителями. Их мало, а нас много. Поэтому и тяжесть, и осадок - всё на моей совести. Не смог я в себе удержать душевное равновесие. Не удалось пройти мимо и общественной жизни. Теперь-то я понимаю, что без православного воспитания и поддержки сделать это одному не так просто. Понимать-то понимаю, но разве от понимания легче? Грех и сто раз раскаянный, нет, нет, да и всплывёт наружу. Простил ли Господь? Помиловал ли? Вот и шепчешь про себя неустанно: «Господи, прости и помилуй!».

Старцы, если и жили на наших хуторах, то от православия они уже отошли. Даже и столетние Трофим с Матвеем. Космос, космосом и критика, критикой. Их недовольство, так,

всё больше поверхностное. На самом же деле, от остальных хуторян они далеко не оторвались. Куда же от опчества-то? Советские чаяния, и надежды давно стали и их чаяниями, и надеждами. А советские радости, их радостями.

Скажу перед Богом и вами, и аз многогрешный, жил тогда не со Всемилостивым Богом, а с теми же самыми радостями.

По-другому и быть не могло.

Советская пропаганда и агитация, не имея православных препонов, довольно легко вползала в наши детские души. Вползла она и в мою. Я искренне верил, что несправедливость и ложь, уже подмеченные мною в миру, есть явление не всеобщее, а эпизодическое. И что, светлое коммунистическое будущее, о котором нам неустанно талдычат и талмудят по радио, в газетах и на уже появившемся телевидении, и есть та самая настоящая цель, к которой только и надо стремиться в жизни. Если, уж, в храмах служат попы - коммунисты [151], то, что спрашивать с нас - малолетних и несмышлёных.

Не знаю, есть ли смысл в сравнении своих прожитых лет. Всё равно, из числа их не выкинешь. А своё, как говорится, оно и есть своё. Но, если всё-таки есть, то восьмилетняя школа несравнима со школой начальной. И не только по интересу к обучению и как следствие, полученным знаниям. Да и что знания! Сами по себе, они не столь и важны.

Мало проку в том, что ты научился решать квадратные уравнения, знаешь химическую формулу воды или имеешь представление о жидкости, находящейся в сообщающихся сосудах. Здесь намного важнее другая ипостась, от которой зависит прочность жизненного фундамента. Она-то у меня и оказалась скользкой. С её хитрой подачи мой жизненный фундамент строился не столько на песке, сколько из самого песка. Поэтому и не случайно, что он потом рассыпался, породив душевную пустоту, ненависть и разочарование в советском строе.

Но и об этом, Бог даст, впереди.

Восьмилетнюю же школу я закончил неважно. О чём и свидетельствовал соответствующий документ. Он пестрел тройками, четвёрками и редкими пятёрками. Выбора не оставалось. Плохое зрение правого глаза закрыло для меня доступ ко всем военным училищам [152]. Мечта стать лётчиком умерла. И мне её было жалко до слёз. Впервые в жизни я растерялся и серьёзно задумался.

Над чем?

Да, всё над тем же. Извечно человеческим, а не только русским. Что делать? И куда деваться? Получалось, что, как ни мозгуй и ни думай, а деваться мне некуда. Стало быть, надо идти в девятый класс. Ближайшая средняя школа имелась только в Радьковке, что в семи километрах от дома. Из Радьковки родом моя мама. Там ещё жили дедушка с бабушкой и многочисленные родственники по материнской линии. Отец тоже приобщился к селу. Колхозы неожиданно объединили и его поставили председателем Радьковского сельсовета. Но поставили не сразу, а спустя какое-то время [153].

Семь километров топтать по грязи не хотелось...

Однако пришлось.

В Радьковской школе собрались ученики из отдалённых весей. Что там какие-то мои семь километров! Семь километров, это так, пустяк. Из села Сеймица ребята топтали по пятнадцать километров. Из Журавки - одиннадцать. А из Сергиевки - по двенадцать. И это только в один конец. Других школ поблизости больше не было. Хочешь, ходи и учись, а хочешь, иди в колхоз и работай. Работать в колхозе никому не хотелось. Лучше, уж, грязь месить и учиться, чем скирдовать в поле солому или счищать на ферме навоз. Поэтому многие выбрали школу.

Столько народа пришло учиться, что глаза разбегались. Учителя разбили нас на три класса - «А», «Б» и «В». Из нашей школы в среднюю школу пришло учиться шесть человек из пятидесяти. Остальные поступили в техникумы и профтехучилища или ещё куда. Больше учеников пришло из сёл: Храпачёвка, Масловка, Петровка, Сеймица, Кривошеевка...

Вдвоём с Толиком Погребным мы попали в девятый класс «А». Этот класс оказался коренным, Радьковским. К нему добавили нас и ещё трёх учеников из Храпачёвки. Человек

двадцать пять и набралось. В остальных девяти классах сборности оказалось побольше.

В средней школе требования к обучению превзошли мои ожидания и вначале показались невероятно высокими [154]. Оно и понятно, почему. Базовых знаний у меня не хватало. А по точным наукам имелись такие пробелы, что впору хвататься за голову. Я и схватился.

Выглядеть белой вороной на фоне сильного класса не хотелось. Поэтому волей, неволей пришлось браться за ум и подтягиваться к остальным ученикам. Ох и трудное же это дело, заполнять давным-давно упущенное. Пришлось отыскивать старые учебники и корпеть над ними часами, изо дня в день, из месяца в месяц...

С такой двойной нагрузкой я и проучился почти весь девятый класс [155].

Очень высокая требовательность к знанию предмета и особенная человеческая участливость в судьбе каждого ученика – оставались не единственными критериями Радьковских учителей. Если в Журавке нас и пороли-то всё больше с политической подоплёкой [156], то в Радьковке [157], наоборот, витала удивительная аполитичность. Здесь не политика, а знания стояли на первом месте. Бывших фронтовиков хватало и здесь, однако, их культурный уровень намного превышал уже нами увиденное и пройденное. Все учителя-фронтовики имели высшее педагогическое образование. На фронте никто из них не выбился в офицеры. Может быть, этим и объясняется их более высокий культурный уровень? Бог весть. Чего не знаю, того не знаю.

Николай Артёмович Кузубов учил нас по русскому языку и литературе. Тихий и очень скромный человек. Я никогда не слышал от него громкого слова. За самостоятельность в сочинениях, он часто называл меня «партизаном» в литературе. Дело в том, что я очень не любил писать сочинения по уже трижды «разжёванной» теме, поэтому и искал новые подходы к ней. Иногда удавалось, что-то найти. И тогда Николай Артёмович зачитывал мой скромный труд перед классом, давая всем понять, что так, всё же, писать не следует.

Дмитрий Иванович Будков учил по химии. Он отличался строгостью и повышенной требовательностью к своему любимому предмету. По химии у него прилично учились даже закоренелые двоечники. Дмитрий Иванович потерял в войну ногу [158] и передвигался на двух костылях. Человек он большой, мужественный и из-за тяжёлого ранения, немножко нервный.

Василий Емельянович Кузубов, однофамилец Николая Артёмовича, учил нас по математике. Он захватил ещё и финскую кампанию. Лицевое ранение повредило ему полость рта, из-за чего он заметно шепелявил. Однако эта шепелявистость не мешала Василию Емельяновичу вести уроки и занимать пост завуча. И с тем и с другим, он справлялся успешно.

Дмитрий Денисович Старченко – директор школы. Вёл он обществоведение. Если, кто вспомнит, то теперь уже и не скажет о чём этот предмет? Так. Ни о чём. Переливание из пустого в порожнее. Базис, надстройка. Чего базис? Какая надстройка? Дмитрий Денисович слыл в школе человеком, хотя и добрейшим, но чрезвычайно рассеянным. Расскажу вам лишь один случай.

А вы, уж, смотрите сами.

Заходит он в наш класс на свой урок. Класс, понятное дело, почтительно встаёт. Дмитрий Денисович проходит на середину и оттуда со всеми здоровается. Класс ему дружно отвечает и тут же садится на свои места. А директор проходит дальше. Садится за стол и, напялив на нос огромные очки, открывает классный журнал. Лицом Дмитрий Денисович очень похож на актёра Игоря Ильинского. Прямо точная его копия. Так, вот. Открывает он журнал и у дежурной по классу спрашивает.

- Кто у нас отсутствует на уроке?

- На уроке отсутствует Лантратова Мария, - отвечает бойко дежурная.

- Та-ак, - тянет директор, ставя галочку в журнал. – Отсутствует, значит, Лантратова.

Хорошо.

На секунду он отрывается от журнала, смотрит сквозь стёкла очков и через наши плечи в окно. Потом обратно склоняется к журналу и говорит.

- Так. Отвечать к доске пойдёт, пойдёт к доске отвечать - Лантратова Мария.

- Дмитрий Денисович, - объясняет ему один из близ сидящих учеников. - Лантратова отсутствует.

- Ах, да. Лантратова отсутствует. Так. Понятно. А чего это она отсутствует? - спрашивает учитель больше себя, чем класс.

За весь класс нехотя отвечает всё тот же, из близ сидящих учеников.

- Болеет, наверное.

- Болеет, - повторяет Дмитрий Денисович. - Болеть нехорошо. Ну, ладно. Тогда пойдёт отвечать. Так, кто же у нас, всё-таки, пойдёт отвечать. Ага. Пойдёт к доске отвечать - Лантратова Мария.

Нам уже становится смешно, но мы пока терпим и вида не подаём. А словоохотливый ученик опять поясняет директору.

- Дмитрий Денисович, так нет же Лантратовой.

- Нет? - он заглядывает в журнал и напротив фамилии отсутствующей ученицы легко отыскивает только что поставленную свою же галочку. - И верно, нет. Ну, тогда пойдёт отвечать. Кто же у нас пойдёт отвечать? А пойдёт у нас отвечать - Лантратова Мария.

Тут мы уже не выдерживаем и откровенно громко смеёмся. После нашего смеха Дмитрий Денисович, наконец, собирается с мыслями и вызывает к доске не Лантратову.

Интересных и смешных случаев из школьной жизни я могу рассказывать много.

Рассказывать-то можно, да боюсь согрешить перед Богом. Уж, лучше помолчу.

Два года не четыре. И пролетели они быстро. Остались позади два года ходьбы по грязи, волнительные экзамены, шумный выпускной вечер и торжественное вручение документа об образовании. Хороший аттестат позволял надеяться на поступление в высшее учебное заведение [159]. Так мне думалось, и верилось. Но не у одного меня случились такие хорошие аттестаты. Нашлись аттестаты и получше. А пуще того, нашлись поумнее головы. Хотя, поступай я не на исторический факультет Харьковского университета, а куда попроще, глядишь и поступил бы. А так, поступить на такой престижнейший факультет никаких шансов у меня не было. Даже и одного. И знания не того уровня и обличье лица с фамилией - не от Хама, а от Иафета [160]...

Одним словом, поступать-то я поступал, но так и не поступил.

Город меня жизнью своей не прельщал. А до армии ещё надо было дожить.

Оставалось одно - колхоз.

---

\* Да помогут мне эти путеводительные слова моего любимого святого Екклесиаста. (М. Д).

1 С протоиереем Валерием Рожновым (тогда просто Валерием) мы вместе учились на агрономическом факультете Курского сельскохозяйственного института. Учились в одной группе и уже тогда были духовно близки. Ко времени описываемых событий наша дружба насчитывала порядка 27 лет. (Здесь и далее примечания автора).

2 Казацкая степь - заповедник.

3 Воронежское пастырское совещание 2001 года, с участием архиепископа Лазаря (Журбенко), епископа Вениамина (Русаленко) и епископа Агафангела (Пашковского). Знаменито оно тем, что на этом совещании выше перечисленные архиереи в полной мере показали свою отступническую, раскольничью сущность.

4 Правящим архиереем Европейской епархии РПЦЗ (В) был тогда архиепископ Варнава (Прокофьев) с титулом Канский и Европейский. Он же являлся и Заместителем митрополита Виталия (Устинова), Первоиерарха РПЦЗ, РПЦЗ (В).

- [5](#) В деревенском обиходе – Новоселия. Правда, в моей метрике записали, что родился я в хуторе Мироновка, Радьковского сельсовета. По советским бумагам хутора Новосёловка, как бы и вовсе не существовало. Не существует его в бумагах и нынешней власти. Семнадцать домов стоят. Живут люди. На лугу пасутся коровы и гуси. А по бумагам выходит, что ничего этого нет. Случаются же такие парадоксы. Сказать кому, так и не поверят. Однако, сказанное – правда. А хутор Мироновка находится в двухстах метрах от моего родного хутора.
- [6](#) Теперь-то уже почти все повымерли.
- [7](#) Об этом можно почитать в «Церковной истории» митрополита Макария (Булгакова).
- [8](#) Погибли и два его родных брата.
- [9](#) На фронт отец попал не сразу, а после обучения в запасном полку. В том полку, он едва не погиб от голода.
- [10](#) По слухам – архимандрит.
- [11](#) О самом селе чуть ниже.
- [12](#) В селе Васильевка жила барыня со своими детьми.
- [13](#) Почти каждый раз я просил его повторить этот рассказ.
- [14](#) Сейчас бы, да такое слезоточение...
- [15](#) Дедушку Кирилла я и похоронил. Когда он преставился ко Господу, выкопал на кладбище могилу и похоронил. А, став священником, отпел.
- [16](#) В наших местах очень многих крестьян советы раскулачили и репрессировали.
- [17](#) В то время, вопреки моим желаниям.
- [18](#) Храм стоит и до сегодняшней апостасной поры.
- [19](#) Скончался епископ Евфимий (Беликов) 11 октября 1863 года.
- [20](#) Эти мельницы, точнее, то, что от прежнего количества осталось, я успел захватить и запомнить. Некоторые из них тогда ещё работали. Правда, совсем непродолжительное время.
- [21](#) Построили земскую школу в 1875 году.
- [22](#) А эту школу сдали в 1899 году.
- [23](#) Точная дата постройки земской больницы мне неизвестна. Полагаю, что построена она не позднее 1875 года.
- [24](#) И по всем остальным сёлам, станицам и хуторам необъятной России.
- [25](#) Крестьян уже не пишу.
- [26](#) Да и не хочу открывать.
- [27](#) О нём я уже упоминал чуть выше.
- [28](#) По ней я восемь лет ходил в школу. Сначала в начальную Нижне-Гусынскую. А по окончании четырёх классов, в Журавскую восьмилетнюю.
- [29](#) Люлька представляет собой рамку, сбитую из четырёх струганных досок и снизу обтянутых мешковиной. От углов люльки тянутся к потолку четыре верёвки, привязанных к потолочному кольцу. Люльку легко качать, что очень нравится брату. В этой же люльке вынырнули и меня.
- [30](#) Зерно тогда выращивали ещё без генных изменений.
- [31](#) В те года в колхозе не было своей собственной столовой.
- [32](#) Увы, чаще всего не перепадало.
- [33](#) Попадались и такие уполномоченные, которых ни иконы, ни лампадка не интересовала. Интерес у них замыкался всё больше на еде и самогоне.
- [34](#) В сельской местности всегда так. За детьми присматривают до тех пор, пока они ещё не умеют ходить.
- [35](#) О них немного ниже.
- [36](#) По-моему, страха я тогда, вообще, не ведал.
- [37](#) Они мне были не столь интересны, как лягушки.
- [38](#) Я, лягушки и двоюродные сёстры иногда становились причиной семейных женских скандалов.
- [39](#) В сенцах, у закрома стояли две новые прялки.
- [40](#) Овечек мы не держали. Шерсть покупали в селе Вязовое, что в семи километрах и на кряжу.

- [41](#) Родной брат отца.
- [42](#) Она осталась от дедушки Афанасия, погибшего на советско-германской войне.
- [43](#) Читать я тогда ещё не умел. Читать научился в начальной школе. Не по церковно-славянски, конечно.
- [44](#) Скорее всего, её перепрятал отец.
- [45](#) Как и для многих, таких же, как я.
- [46](#) Забегая вперёд, следует сказать, что через два-три года, я научился плавать и нырять так, что в воде мне не было равных, даже и среди старших деревенских мальчиков.
- [47](#) Речной пескарь - рыбка маленькая, но очень вкусная. Водится она только в чистой воде.
- [48](#) Налим живёт в береговых норах. Рыба скользкая, однако, невероятно вкусная. Северный налим - ничто по сравнению с нашим, среднерусским.
- [49](#) В нашем сегодняшнем понимании.
- [50](#) О воспитательных беседах и речи не могло быть.
- [51](#) Если не на третий.
- [52](#) И какое угодно другое.
- [53](#) В системе Гулага рабы необыкновенные.
- [54](#) Антисоветское.
- [55](#) Когда же, вместо трудодней, начали платить за работу деньги, люди стали их копить, чтобы не только перестроить свои халупы, но и по возможности, купить жильё в городе и таким образом, освободиться от каторги. Город колхознику представлялся воплощением свободы и почти независимости от системы.
- [56](#) Речь здесь только о нашем хуторе.
- [57](#) О колхозе или советском милосердии упоминать здесь абсурдно.
- [58](#) Написал это специально для крикунов, сегодня так громко кричащих в пользу советской власти.
- [59](#) Так поступали все хуторяне.
- [60](#) В смысле т. н. «лампочка Ильича».
- [61](#) В сельской местности радио начинало играть в пять часов утра. А в городе в шесть.
- [62](#) В интерпретации могу и ошибиться. Прощу прощения!
- [63](#) Дури и грехов тоже набирался. Как же без них-то?
- [64](#) И к моей несказанной радости.
- [65](#) По отцовскому совету.
- [66](#) Скорее с восторгом.
- [67](#) На самом деле, Дамку убил наш полупьяный и полоумный сосед. Но об этом я узнал уже значительно позднее.
- [68](#) Вспомните слова из песни: «утверждают космонавты и мечтатели, что на Марсе будут яблони цвести». Слова из песни не выкинешь. Но мы и вправду верили, что всё так и будет. Как в песне.
- [69](#) В какой среде.
- [70](#) Как некогда от литературного персонажа - О. Бендера шахматным энтузиазмом заразились доверчивые люди в Васюках.
- [71](#) Особенно мне.
- [72](#) Чаще всего до тех пор, пока меня не замечали и не прогоняли.
- [73](#) Что подслушивать, это плохо я тогда ещё не знал.
- [74](#) Погибших потом на советско-германской войне.
- [75](#) Им уже «шили» дело о шпионаже в пользу Германии, Японии и т. д.
- [76](#) Бабушка Аня, ради своих голодных детей, собирала на убранном колхозном поле колоски. За что и поплатилась. Слава Богу, хоть живая вернулась домой.
- [77](#) Не так часто, но появлялся.
- [78](#) То есть, милиционера пронесло мимо.
- [79](#) Край у нас свеклосеющий, а стало быть, самогонный.



[80](#) Дом новый построили, но жить в него ещё почему-то не перешли.

[81](#) Теперь уже не помню куда.

[82](#) А то я не знал этих ответов!

[83](#) Для меня было большой загадкой, как это из сена и соломы у коровы получается такое вкусное молоко? Я догадывался, что взрослые-то наверняка знают как. И недоумевал, почему же они до сих пор не сделают такой завод-корову? Чтобы с одной стороны завода подавалось сено или солома, а из другой вытекало из трубы вкусное парное молоко.

[84](#) Родители боялись, чтобы я чего не поджёг. Впрочем, как они их от меня не прятали, я их всё равно находил.

[85](#) Без комментариев.

[86](#) Бабушка даже не умела считать деньги. Вначале считать было нечего. А когда уже и было чего, то она количество денег определяла по количеству купюр. Их номинальное достоинство для неё не имело значения. Хоть и по рублю, но лишь бы много.

[87](#) Как говорится, были бы деньги.

[88](#) Надо мной тогда часто подшучивали. Шуток я не понимал, принимая их за чистую правду. Так вышло и в этот раз. Рядом со старой хатой, я катался на лыжах с небольшой снежной горки. Катался здорово. Мимо по просёлочной дороге проходил дядя Филипп из соседнего хуторка. Я его знал. Он работал молотобойцем в нашей бригадной кузнице. Дядя Филипп остановился. Поднял со лба свою потрёпанную шапку. Посмотрел, как я лихо катаюсь с горки. Потом покачал головой и так задумчиво говорит мне.

- А я-то думал, что ты в школе.

Кататься я перестал и вопросительно посмотрел на дядю Филиппа.

- Как? Ты ничего не знаешь? - хлопнув себя по коленям руками, спросил он словно и не меня, а будто кого-то другого. Я ещё посмотрел по сторонам. Нет ли кого рядом поблизости. Видя моё недоумение и, не дожидаясь никакого ответа, он тут же возмущённо продолжил. - Сегодня же новогодняя ёлка в школе! И всем детям раздают бесплатно конфеты! Все наши хуторские хлопцы уже давно побежали в школу за конфетами. Один ты тут и катаешься. Чего рот-то раззявил? Хватай лыжи в руки и быстрее беги! Конфет там, я слышал, навезли много. Может тебе ещё и достанется. А я-то думал, что ты знаешь.

Сказав всё это, дядя Филипп надвинул свою шапку обратно на лоб и двинулся по дороге дальше. Понятное дело, что мне ничего не оставалось делать, как тут же последовать его совету. Конфеты - штука серьёзная. И на дороге они не валяются.

[89](#) Советы её собрали из кулацкого дома.

[90](#) Мы же о них подробно узнали потом.

[91](#) Видно не имелось на то воли районного партийного руководства. Если бы партия приказала, деваться Матвею Даниловичу было бы некуда.

[92](#) Уже в наше время, он пригласил меня почитать Псалтирь по своей усопшей жене рабе Божьей Екатерине. Я, конечно же, согласился. После молитв, мы с ним разговорились. И он поведал мне свою историю жизни. Она и поучительна, и во многом, характерна для его поколения. Умер Матвей Данилович в возрасте девяноста лет.

[93](#) Разумеется, без учёта прямого (или косвенного) Ангельского воспитания.

[94](#) Такое, какое получало Российское дворянство и часто купечество.

[95](#) О них ниже.

[96](#) Эта печка отапливала большую вторую классную комнату. И топилась она с коридора. У двери же стояла наша законная печка, которая отапливала и наш маленький класс, и учительскую. Так, что, бывало, запаривались мы с Лёником зимой. И ещё как запаривались.

[97](#) Большинство из нас проживало на дальних хуторах и до школы, друг друга мы никогда не видели. Мне были знакомы только один мальчик и девочка.

[98](#) К примеру, я не знал ни одной буквы. Родителям подсказать некогда, а бабушка и сама неграмотная.

[99](#) И то, наверное, не все.

[100](#) Начиная с первого класса и до четвёртого.

[101](#) Хотя, тогда мы так не считали. Его строгость не позволяла нам баловаться на уроках. А иногда так хотелось побаловаться...

[102](#) О дифференциации же учеников по качеству и скорости мышления, тогда не могло быть и речи.

[103](#) К слову сказать, тяга, к которому у меня не уменьшалась на протяжении всего времени обучения в начальной школе.

[104](#) Упущенному, как раз по этой причине.

[105](#) Которая, конечно же, убралась и случилась. Но убралась и случилась позднее, уже в старших классах.

[106](#) На пустыре проходили все уроки физкультуры.

[107](#) Районный отдел народного образования.

[108](#) Название хутора.

[109](#) Уж, лучше бы молчал.

[110](#) Не лишне будет сказать, что по арифметике я был у него самым любимым учеником.

[111](#) На самом деле, инспектор оказался не такой и строгий.

[112](#) Пластин, в большой коробке, Матвей Данилович приносил тоже из учительской.

[113](#) Как и почти всего.

[114](#) Иногда в них что-то, да залёживалось.

[115](#) Научили меня и этому ремеслу.

[116](#) Отец тогда уже работал председателем колхоза и за ношение его сыном нательного крестика, у него могли возникнуть большие неприятности.

[117](#) Неожиданно для нас. Директор и учительницы, конечно же, знали о ней.

[118](#) Вспомнились они на приписной комиссии в военкомате.

[119](#) Также мимо колхозного тока, только с другой стороны.

[120](#) За исключением русского языка и литературы, алгебры и геометрии и биологических предметов.

[121](#) Мы часто находили в посадках и на полях: артиллерийский порох, патроны, полусгнившие пистолеты и автоматы...

Аз многогрешный находил патроны от противотанкового ружья, немецкий «вальтер», каски, штыки.

[122](#) Также бывшему офицеру-фронтовику.

[123](#) Я перестал с ним разговаривать и как прежде, перестал его уважать.

[124](#) Ихние дети учились вместе с нами.

[125](#) Кому-то покажется диким моё повествование. Однако оно правдивое от начала и до конца. Все знали об избиении учеников. Знали и в роно, а то и повыше. И, тем не менее, школа считалась на хорошем счету. А родители? Спросите вы. А, что родители? Отвечу я вам. Многие из них, когда вызывали в школу по поводу очередного баловства родного дитяти, открыто заявляли учителям.

- А вы его порите! Вы же знаете, что нам некогда. Мы всё время на работе. Порите и не вызывайте нас больше в школу.

Я сам много раз слышал эти слова...

Ну и пороли.

[126](#) Так мы называли (про себя, конечно) директора школы Алексея Ивановича Заболотского.

[127](#) И не случайно. Иногда он обращался ко мне с просьбой, чтобы отец выписал ему в колхозе фуражного зерна.

[128](#) По одному нашему Радьковскому сельсовету погибло более шестисот человек.

[129](#) Оно, конечно, о войне не грех бы написать и отдельную главу. Но, как писать, когда родился я, спустя десять лет после неё? Правда, я хорошо запомнил рассказы своих земляков, хлебнувших горяшка от военных «щедрот». И мог бы многое из услышанного пересказать. Только надо ли? Не знаю. Отдельную главу не обещаю, а вот вставлять военные фрагменты,

это, пожалуй, можно.

[130](#) Как на освоение целины. Забегая вперёд, скажу, что из-за слабого зрения правого глаза моя мечта летать оборвалась ещё в военкомате на приписной медицинской комиссии. А Ивану повезло больше. Он поступил в Чугуевское высшее лётное военное училище. Но, не выдержав издевательств, убежал с него ещё до принятия присяги.

[131](#) Независимо от количества сданного.

[132](#) А то и раньше.

[133](#) Бывало, что и не такие ржавые.

[134](#) Уже значительно позднее до меня дошло, что обыски в СССР практиковались везде. И не только в школах, но и в армии, на производстве и что удивительно, даже в войну на фронте. Никто из нас не протестовал. Не произносил ни слова. Мы думали, что так и положено. И что вышестоящее руководство имеет на это законное право.

[135](#) Мину, например или снаряд.

[136](#) Фамилию его запомнил.

[137](#) Конечно, дразнили за глаза.

[138](#) Апеллирует догадками, грешит неточностями.

[139](#) Жалко мне было бедного Матвея Ивановича.

[140](#) Как в случае со мной на школьном крыльце.

[141](#) В новый дом отец не разрешил их заносить.

[142](#) И сказала, чтобы пустую бутылку обязательно принёс домой.

[143](#) Он так и назывался - «косной».

[144](#) Ни меня и ни моих приятелей.

[145](#) Кузнецов, по-моему, со слабым телом и не бывает.

[146](#) Перепадало же им каждый день.

[147](#) У деда Ефрема на родине оставалась жена и двое маленьких детей.

[148](#) То есть, по лицу, по скулам.

[149](#) Гансом звали мужа Марты.

[150](#) Обычно таким ножом тогда чистили в колхозе сахарную свеклу.

[151](#) В Радковке священник МП, будучи в изрядном подпитии, показывал мужикам свой партийный билет. К этому эпизоду, Бог даст, я ещё вернусь.

[152](#) И не только военные.

[153](#) Должность председателя сельсовета, к тому времени стала чисто номинальной. Позднее мне стало известно, что отца хотели совсем оставить без работы. Далеко не всем нравилась его прямота. Но потом наверху сжалились над инвалидом и дали вот эту самую номинальную должность.

[154](#) На самом же деле, они были такими, какими и должны быть.

[155](#) Среднюю школу я закончил с восемью пятёрками и восемью четвёрками в аттестате.

[156](#) Детскую нерадивость и баловство, записывая почти в ряд уголовных преступлений, а нас самих, едва ли не считая врагами народа

[157](#) Как ни странно.

[158](#) Повоевать Дмитрию Ивановичу не удалось. Как он рассказывал, их стрелковый полк пешим маршем шёл к линии фронта. Вдруг, налетели немецкие бомбардировщики. Начали бомбить. При бомбёжке ему и оторвало правую ногу. На этом война для него, как началась, так и закончилась.

[159](#) Средний аттестатский бал принимал участие в экзаменационном конкурсе.

[160](#) На исторический факультет ХГУ поступали многие абитуриенты, но поступили, в основном, почему-то только одни евреи.